

A woman with blonde hair, wearing a black dress with a red sash and a white collar, sits on a rocky path. She is looking towards the camera with her hand near her face. The background is a scenic view of a Tuscan landscape at sunset, featuring rolling hills, a stone house, and tall cypress trees. A crescent moon is visible in the sky. The entire image is framed by a decorative gold border.

Кэтрин Уэбб

Спускается ночь

Кэтрин Уэбб

Опускается ночь

«Азбука-Аттикус»

2014

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Уэбб К.

Опускается ночь / К. Уэбб — «Азбука-Аттикус», 2014

ISBN 978-5-389-14220-6

Апулия, 1921 год. В маленький городок на юге Италии приезжает молодая англичанка по имени Клэр. По настоянию мужа, известного архитектора Бойда Кингсли, она должна провести лето в гостях у его богатого клиента Леандро Кардетты, с которым ее мужа связывают загадочные отношения в прошлом. Клэр остается строить об этом лишь догадки... В доме Кардетты находит временное пристанище и его племянник Этторе. Он еще не знает, что это лето станет самым сладостным и самым горьким в его жизни, светлым отблеском, прежде чем «опустится ночь». Впервые на русском языке!

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-14220-6

© Уэбб К., 2014
© Азбука-Аттикус, 2014

Содержание

Клэр, после всех событий	6
Этторе	7
Клэр	10
Этторе	13
Клэр	18
Этторе	31
Клэр	43
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Кэтрин Уэбб

Опускается ночь

Katherine Webb
THE NIGHT FALLING

© Т. Шушлебина, перевод, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017 Издательство АЗБУКА®

* * *

Это слепое желание разрушения, это кровавое и самоубийственное стремление к уничтожению веками накапливаются под кротким терпением ежедневного труда. Всякое крестьянское восстание принимает эту форму, возникает из элементарной жажды справедливости, рождается в черном тайнике сердца¹.

Карло Леви. Христос остановился в Эболи

¹ Здесь и далее эпиграфы в переводе Г. Рубцовой.

Клэр, после всех событий

В Бари все пересаживаются на другие поезда, и платформа заполняется бесцельно топчущимися людьми, хмурыми и помятыми, словно они только что проснулись. В основном это итальянцы, по большей части мужчины. Клэр делает вдох, ощущает запах моря и тут же понимает, что ей непременно нужно его увидеть. Она идет одна неспешной походкой, оставив багаж и ни о чем не тревожась, а ведь раньше она извелась бы, опасаясь воров, краснея от косых взглядов или боясь опоздать на поезд. Это бесстрашие, не свойственное ей прежде, – одно из ее приобретений. Все то, что ей довелось увидеть и пережить этим летом, все те ужасные события, что произошли на ее глазах, выжгли страх из ее души, но Клэр еще не знает, выиграла она в конечном счете или проиграла, возместят ли приобретения ее потери.

Улицы в Бари кажутся ей такими странными после многих недель, проведенных в Джое и массерии, они слишком просторные, слишком широкие и длинные. Но и здесь те же кучки возбужденных людей, то же ощущение затаившейся угрозы. В поношенном иностранном костюме, со светлыми волосами и отстраненным выражением лица, Клэр, идущая по улице, притягивает любопытные взоры. Должно быть, она никогда больше не увидит Апулию, ну и пусть, так тому и быть. Сегодня она сядет в поезд, уедет отсюда, и каждая секунда, каждая оставленная позади миля будет приближать ее к дому. Эта мысль заставляет ее замедлить шаг. Дома у нее больше нет. Еще одна перемена, еще одна потеря в череде прочих потерь, уравнивающих приобретения. Она раздумывает над этим на ходу и решает, что это вовсе не плохо. Просто следующий шаг на пути к освобождению.

Блестит мостовая, истертая ногами, отполированная солеными брызгами; постепенно меняется цвет неба, оно кажется выше и шире. На какое-то мгновение взгляд Клэр устремляется ввысь, но тут открывается вид на пристань. Вот и море – прямо перед ней. Раннее утреннее солнце нежно поблескивает на поверхности воды, а ее цвет – настоящее откровение. Клэр подходит к самой кромке, пока ее взор не застигает синеву. Синеву, которая кажется живой, которая дышит. Это именно то, что Клэр искала, то, что хотела увидеть. Она растворяется в синеве, как растворилось в ней небо, и охватившая ее боль неожиданно приносит облегчение. Напоминание о том, что нужно двигаться вперед и не оглядываться. Она стоит долго, потому что знает, стоит ей повернуть назад, и этот цвет – чистейший ультрамарин – станет еще одним воспоминанием, самым дорогим и самым горьким.

Этторе

Во время долгого пути в предрассветной темноте он слышал, как кто-то сравнил голод с попавшим в башмак камешком. Поначалу ты пытаешься не обращать на него внимания, он раздражает, не причиняя серьезного неудобства. Но потом начинаешь хромать, идти становится трудно. Боль усиливается. Он глубже и глубже впивается в твоё тело, ты уже с трудом ковыляешь, работаешь все медленнее, и надсмотрщик злобно косится на тебя. Потом камешек доходит до кости, вонзается в нее, становится частью тебя, и ты ни о чем другом уже не можешь думать. Он разрушает твой скелет, превращает мышцы в труху. Говоривший все развивал и развивал эту тему, пока они медленно брели, и в самом деле чувствуя, как крошатся их кости. И много часов спустя Этторе продолжал размышлять над этим сравнением, расцвечивая его новыми деталями, – ни с того ни с сего слетавшие с языка замечания озадачивали тех, кто утром шел слишком далеко от него и не слышал этих разглагольствований, – тем временем их руки равномерными движениями срезали пшеничные колосья, поднявшееся солнце жгло спины и под мозолями вздувались волдыри. На фоне скрипа и стука деревянных щитков о деревянные ручки по-прежнему нет-нет да и слышалось его бормотание. *Он превратит твою кровь в пыль. Он свалит тебя с ног. Поползет по позвоночнику и засядет в мозг.* И все это время Этторе думал о том, что сравнение глупое, хотя вслух этого не сказал. В конце-то концов, кто мешает тебе снять башмак и вытряхнуть камень?

Но голод из себя он вытряхнуть не мог, как не мог проснуться, если его не растолкает Паола. Она не нежничает и колотит его что есть сил, когда он не встает сразу; ее острые костяшки больно бьют по ключице. В предрассветной темноте она двигается так же энергично и проворно, как вечером, и он не понимает, как ей это удастся. Откуда у нее берутся силы и почему она так хорошо видит в кромешном мраке? Другие мужчины с детства умеют просыпаться по своей воле в три, в четыре, самое позднее в пять, но к этому времени шансы получить работу тают – кто раньше пришел, тот и первый в длинной-преддлинной очереди. Других мужчин не расталкивают сестры, как это делает Паола, но без нее Этторе продолжал бы спать. Он спал бы весь день напролет, беспробудно, глубоко. Это была бы погребель. Несколько секунд он лежит без движения. Всего несколько секунд отдыха в темноте, такой густой, что он даже не понимает, открыты ли у него глаза. Он вдыхает спертый воздух, наполненный запахом земли и зловонием ночного горшка, который нужно опорожнить. Едва Этторе успевает подумать об этом, как снаружи слышится стук копыт и скрип колес – это приближается запряженная мулом повозка.

– Отбросы-нечистоты! – выкрикает сборщик усталым и осипшим голосом. – Отбросы-нечистоты! Поторопитесь! Спускайтесь!

Паола проверяет, плотно ли прилегает к глиняному горшку деревянная крышка, поднимает его и вытаскивает на улицу. Зловоние усиливается. Паола говорит, что в темноте, по крайней мере, соседи не видят, как ты опрокидываешь горшок в огромную бочку сборщика. Но когда повозка удаляется, трясясь на камнях и ухабах, за ней по земле всегда тянется след человеческих испражнений, вонючий и скользкий.

Паола осторожно претворяет за собой дверь и ступает очень тихо. Не ради брата или Валерио, а чтобы не разбудить Якопо, своего сына. Она надеется, что мужчины уйдут до того, как малыш проснется, и она спокойно покормит его. Но такое случается редко. Чирканье и вспышка спички, неровное пламя единственной свечи будят ребенка. Издав тихий удивленный возглас, он недовольно хнычет. Якопо умненький мальчуган и потому не кричит. Крик – это тяжелый труд. Миазмы, наполняющие тесную комнату, отчасти исходят от ребенка. Без воды для купания и стирки пеленок невозможно избавиться от зловония; к нему пришивается кислый запах рвоты. Этторе знает, что, оставшись одна, Паола смочит тряпку

и оботрет малыша, но она достаточно благоразумна, чтобы не делать этого в присутствии Валерио, который ревниво следит за их запасом воды.

Ливия. Этторе закрывает глаза, и оранжевые отблески свечи словно отпечатываются внутри черепа. Каждый день его мысли движутся по одному и тому же кругу: голод, нежелание вставать, Ливия. Даже не мысли – толчки; Ливия поселилась так же глубоко в его внутренностях, как голод и усталость. С его телом и инстинктами она соединена гораздо крепче, чем с сознанием. *Ливия.* Это даже не слово, а чувство, неразрывно связанное с воспоминаниями о запахе, прикосновениях, вкусовых ощущениях и потерях – хороших и плохих потерях. Краткий миг свободы от забот, обязанностей, страха и гнева, словно смытых волною радости встречи. Утрата сомнений и страданий. Какой аромат источали ее пальцы, после того как она проводила целый день за чистой миндаля, аромат свежего зрелого плода, аромат, которым, казалось, можно насытиться. Она как будто питала его, и, когда они были вдвоем, он забывал о голоде. Только тогда. Этторе вспоминает шелковистую кожу ее икр, мягкую под коленками, словно абрикос. А потом он потерял Ливию, и это было как удар ножом, как рваная рана. Как крупный град, что приносит летняя гроза, – побивающий все, ледяной, смертоносный. Мышцы на ребрах Этторе напрягаются, по телу пробегает дрожь.

– Вставай, Этторе! Ты никак опять спишь! – Голос у Паолы тоже резкий, не только ее лицо и движения. Вся она – от плоти на ее костях до слов и самого сердца – сделалась твердой как камень. Лишь когда она берет на руки Якопо, в ее глазах появляется мягкость, словно отблеск закатившегося солнца.

– Ты камешек в моем башмаке, который все время саднит, – говорит он, вставая и разминая затекшие мышцы спины.

– Тебе повезло, – отвечает Паола. – Если бы не я, мы все умерли бы с голоду, пока ты тут лежишь и мечтаешь.

– Я не мечтаю, – говорит Этторе.

Паола не удостоивает его взглядом. Она идет в дальний конец комнаты, к нише в каменной стене, где спит Валерио. Она не притрагивается к нему и только кричит ему в ухо:

– Уже четыре, папа.

Кашель извещает их о том, что Валерио проснулся. Он поворачивается на бок, подтянув колени к подбородку, словно дитя, и кашляет, кашляет. Затем бранится, сплевывает и свешивает ноги на пол. Паола пристально смотрит на него.

– Сегодня опять Валларта, если повезет, мой мальчик, – произносит Валерио, обращаясь к Этторе. Когда он говорит, в груди у него что-то дребезжит.

Паола и Этторе обмениваются быстрыми многозначительными взглядами.

– Тогда лучше поторопитесь, – говорит Паола. Она наливает им чашку воды из шерба-той амфоры, и легкость, с которой Паола делает это, указывает на то, что сосуд уже больше чем наполовину пуст. Паола должна ждать их дня, прежде чем она сможет пойти к источнику. Или ждать, или покупать у торговца, а этого они не могут себе позволить. Не за такую цену.

Массерия Валларта – самая большая ферма в окрестностях Джои, около двенадцати сотен гектаров. Сейчас, во время жатвы, она одна из немногих, куда каждый день нанимают работников. До войны это было время гарантированных заработков – целые недели работы. Мужчины ночевали прямо в поле, не тратя сил на дорогу домой и обратно. Они просыпались перепачканные в земле, набившейся в складки одежды, с мокрыми от росы лицами и ссадинами от камней, на которых лежали. Наконец-то можно было отработать и отдать накопившиеся за зиму долги: внести деньги за жалкие лачуги, оплатить счета за еду, выпивку и игру. Теперь даже сезон сбора урожая не гарантирует работы. Землевладельцы говорят, что не могут позволить себе нанимать людей. Они говорят, что после прошлогодней засухи и послевоенной разрухи вынуждены отойти от дел. Если сегодня их наймут в массерию Вал-

ларта, им придется прошагать до фермы десять километров, чтобы начать работу с восходом солнца. С вечера не осталось никакой еды, они съели все до крошки. Если повезет, их чем-нибудь накормят на ферме, но это вычтут из заработанных денег, если, конечно, они их получают. Мужчины суют ноги в башмаки, застегивают свои изношенные жилеты. Они выходят на прохладный утренний воздух, минуют тенистый внутренний дворик и шагают по узеньким улочкам, ведущим к Пьяцца Плебишито, где встанут в очередь за работой. И Этторе дает клятву. Он повторяет ее каждое утро, вкладывая в нее всего себя: «Я найду того, кто сделал это, Ливия. И этот человек будет гореть в аду».

Клэр

Ее всегда поражало то, как сильно Пип вытягивается за время семестра, ведь его не бывает дома неделями, но на этот раз, кажется, изменилось что-то более существенное. Не только рост, овал лица и ширина плеч. Клэр пристально разглядывает его, пытаясь доискаться до причины. Он спит, прислонив голову к пыльному окну поезда и прижав к груди потрепанный экземпляр «Холодного дома». Тонкие пряди волос упали на лоб и колышутся в такт покачиванию вагона. Сейчас в спящем с приоткрытым ртом юноше Клэр опять видит ребенка. Маленького одинокого человечка, с которым когда-то познакомилась. Теперь его лицо сделалось более худым, челюсть стала массивнее, брови гуще, немного удлинился и заострился нос. Но темно-русые кудри все такие же непослушные, и он пока еще обходится без бритвы. Клэр всматривается внимательней, желая удостовериться. Над верхней губой не пробивается ни единого волоска. Облегчение, которое она чувствует при этом, смущает ее.

Она отворачивается и смотрит в окно. Пейзаж не меняется. Бесконечные мили возделанной земли: пшеничные поля, изредка перемежающиеся чахлыми оливковыми рощами или приземистыми миндальными деревьями с черными корявыми стволами. Когда Пип станет мужчиной, повзрослеет, когда закончит учебу и уедет из дома навсегда... Клэр испуганно сглатывает вставший в горле комок. Разумеется, она не может этому помешать. Она не будет его удерживать. Не позволит себе. Должно быть, именно это сейчас изменилось: она уже не в силах отмахнуться от мысли, что он повзрослел и в один прекрасный день покинет ее и заживет своей жизнью. Она ему не мать, и, возможно, боль разлуки будет не такой острой. Но мать связывают с сыном неразрывные узы, узы крови и родства, сознание того, что ребенок был когда-то ее частью и в каком-то смысле остается таковой всегда. У Клэр этого нет. Ее связывают с Пипом чувства более хрупкие, более тонкие; они такие же прекрасные, но могут исчезнуть без следа. И этого она боится больше всего. Ему только пятнадцать, уговаривает она себя. Он еще ребенок. Вагон качнулся, и голова Пипа ударилась о стекло. Он начинает просыпаться, закрывает рот, жмурится.

– Как ты, Пип? – спрашивает она, улыбаясь.

Он приветливо кивает.

– Должно быть, уже подъезжаем. – Пип зевает, как кот, без всякого стеснения. Его зубы начали смещаться вперед, расталкивая друг друга.

– Пип, ты меня сейчас проглотит! – выговаривает она ему.

– Прости, Клэр, – бурчит он.

– Почти приехали. – Клэр окидывает взглядом поле с белесой травой, промелькнувшее за окном. – Должно быть, почти приехали.

Она чувствует неприятный привкус во рту, такой же несвежий, как помявшаяся одежда и липкая кожа. В поезде душно, просто нечем дышать, – неудивительно, что Пип продолжает клевать носом. Она и сама не прочь вздремнуть, но Бойд предупредил, что у итальянцев очень ловкие руки, и Клэр тревожится о кошельках и вещах и о том, что скажет Бойд, если их обворуют, несмотря на все его предостережения. Она мечтает размять ноги, помыть голову, но, когда в окне показываются первые разбросанные тут и там дома, у нее внезапно пропадает желание выходить в Джоя-дель-Колле. Есть в путешествии нечто чудесное – вас везут многие-многие мили и вы ни за что не отвечаете; чтобы достичь места назначения, вам нужно просто терпеливо ждать. А поскольку они с Пипом одни в купе, им легко и приятно вдвоем. Нет необходимости думать о манерах или силиться поддержать ничего не значащий разговор. Их задумчивое молчание исполнено приязни и не вызывает неловкости. К тому же Клэр побаивается того, что ждет ее в конце пути.

Бойд решил, что они проведут лето в компании людей, с которыми прежде она не была знакома и о которых почти ничего не знала. Никакие возражения не заставили бы его изменить планы; она даже не смогла написать о нежелании ехать в письме, как обычно делала, чтобы ясно и спокойно изложить свои доводы. Во всяком случае, когда Бойд из Италии давал им указания по хрипящему телефону, было уже не до писем. От безысходности она предложила ограничиться двумя неделями, но Бойд, казалось, даже не слышал ее слов. Исчезли надежды на тихое лето, которое она так ждала и которое хотела провести дома вдвоем с Пипом, наблюдая, как душистый горошек тянется вверх по бамбуковым палочкам, и играя в вист в тени высокой садовой ограды. Итальянцы, у которых они собирались жить, были клиентами Бойда; Кардетта, старый знакомый ее мужа по Нью-Йорку, и его очаровательная жена. Кроме этого, о будущих хозяевах ей было известно то, что они богаты.

Поезд пронесся мимо каменных домишек с коническими крышами, которые напоминают причудливые шапки, разбросанные каменными великанами. Мимо полей, где трудились жнецы; смуглые и худые, они даже не поворачивали головы вслед проходящему поезду. Мимо тележек, которые тянули ослы, и больших крестьянских возов, запряженных мулами. Но машин не видно. Ни одна деталь, помимо самого поезда, не указывает на то, что за окном 1921-й, а не 1821 год. Клэр пытается представить, как выглядят богачи на далеком юге. Она тревожится, что здесь не окажется электричества или уборной в доме, что они могут заболеть из-за местной воды. На севере говорили, что областей к югу от Рима лучше избегать, а уж к югу от Неаполя лежит и вовсе пустынная, заброшенная земля, где живут нелюди, безбожники, утратившие человеческий облик, которые влачат жалкое нищенское существование и обречены на вымирание. В школе Пипа охотно отпустили на летние каникулы раньше срока, когда она написала, что они собираются в Италию. «Что может быть лучше, чем закончить учебный год посещением подлинной сокровищницы искусства и колыбели цивилизации, которую он изучал все последние месяцы?» – ответил его учитель. Клэр не стала разубверять его и объяснять, что едут они не в Рим, Флоренцию или Венецию. Сама она никогда не слышала о каких-либо крупных городах здесь, на юге: Бари, Лечче, Таранто. А городок Джоя-дель-Колле, куда они направлялись, и на карте-то было трудно отыскать.

Через каких-нибудь полчаса поезд вползает на станцию, посреди двух пустых платформ. Клэр улыбается Пипу, пока они встают, разминаются и приводят себя в порядок, но на самом деле в ободрении нуждается она, а не он. Воздух обдает их горячей волной, как только они выходят из вагона. И в нем явственно ощущается металлический запах крови. Глубокий вдох, чтобы собраться с духом, и у Клэр пересыхает в горле, она хмуро оглядывается. Небо безукоризненно синее, желтое солнце клонится к закату. Они отходят от шипящего поезда, и их уши наполняет жужжание насекомых.

– Чем это пахнет? – спрашивает Пип, уткнувшись носом в рукав своего пиджака.

Тут до них доносится крик, и они замечают человека, машущего им из окна автомобиля.

– Эй, там, на корабле, дорогие мои! – Голос Бойда звучит возбужденно. Он машет шляпой и смеется, выходя из машины, выпрямляет длинные конечности и расправляет плечи, раскладываясь, словно подозрная труба. Высокий и худой, он двигается с нарочитым изяществом из вечной боязни выглядеть неуклюжим.

– Привет! – восклицает Клэр. Она привезла их в эту даль и теперь с облегчением перекладывает ответственность на мужа.

Они с Пипом быстро идут к машине, и Клэр оборачивается, чтобы махнуть носильщику с багажом.

– Проверь, все ли чемоданы на месте. Не удивлюсь, если мы недосчитаемся какого-нибудь и его увезут в Таранто, – говорит Бойд.

– Нет, всё тут.

Бойд крепко обнимает Клэр, поворачивается к Пипу и на какой-то миг застывает в растерянности. И это тоже внове – едва заметная неловкость, возникшая между ними. Клэр догадывается, что и Бойд заметил признаки подкрадывающегося взросления. Онижимают руки, затем нерешительно обнимаются.

– Филипп, ты такой высокий! Гляди-ка, уже гораздо выше Клэр, – говорит Бойд.

– Я был выше Клэр с позапрошлого Рождества, папа, – обиженно отвечает Пип.

– Правда? – Бойд сконфужен, его улыбка делается растерянной, словно он забыл что-то важное, чего ни в коем случае нельзя было забывать.

Клэр спешит ему на выручку.

– Просто большую часть времени ты проводил сидя – на стуле, на велосипеде или в лодке. Трудно было определить твой рост, – говорит она. И тут порыв ветра снова приносит запах крови и насилия. Бойд бледнеет, улыбка окончательно сползает с его лица.

– Давайте полезайте в машину. Бойня отсюда меньше чем в полумиле, и я не выношу этого смрада.

Несмотря на толстый слой пыли, покрывающей кузов, видно, что автомобиль новой модели. Пип оглядывает его с почтительного расстояния, прежде чем сесть. Водитель со смуглым непроницаемым лицом едва кивает Клэр, вместе с носильщиком укладывая в багажник их вещи, но его взгляд возвращается к ней снова и снова. Она старается не обращать на это внимания. Этот парень был бы красив, если бы не заячья губа, обнажающая верхнюю десну и кривые зубы.

– Здесь на тебя будут засматриваться, моя девочка, – говорит Бойд, понизив голос, когда машина трогается с места. – Из-за светлых волос. В здешних местах это в диковинку.

– Ясно, – отвечает она. – И на тебя засматриваются?

Она улыбается, и Бойд берет ее за руку. У него тоже светлые волосы, но появившаяся седина делает их серебристыми, почти бесцветными. На макушке они поредели, а залысины становятся все глубже и глубже, открывая лоб и виски, словно отлив, обнажающий морское дно. После расставания – хотя сейчас он был в отъезде всего месяц – Клэр замечает, как он постарел. Он спрашивает, как прошло путешествие, что они видели, что ели, удавалось ли им выспаться. спрашивает, как выглядел сад в Гэмпшире перед их отъездом и о школьном табеле Пипа. Он задает вопросы с какой-то отчаянной, почти маниакальной настойчивостью, и это сразу настораживает Клэр, вызывая глубоко запрятанные тревоги и опасения. «Только не это, – молит она про себя. – Только не это». Она начинает быстро перебирать в уме все мелочи, которые могла упустить, – какой-нибудь знак, что-то сказанное им в телефонной беседе или даже что-то из забытых им вещей, любой намек на проблему. Она сделала все, как он велел, привезла с собой Пипа, но что-то явно не так. Они отъезжают от станции, окутанные облаком светлой пыли, и, хотя в окно дует свежий ветер, ее по-прежнему преследует запах крови.

Этторе

На Пьяцца Плебишито толпятся мужчины в черном. Это *джорнатари*, поденщики, у которых за душой ничего нет, и их единственное средство прокормиться – сила рук и спин. В предрассветном сумраке они являют собой скопище темных силуэтов на фоне светлых камней мостовой. Голоса звучат приглушенно; мужчины переминаются с ноги на ногу, покашливают, негромко перекидываются парой-тройкой слов. Стоит им с Валерио смешаться с толпой, как Этторе ощущает запах сальных волос и ввевшегося в одежду застарелого пота, горячее несвежее дыхание. Этот запах неотступно преследует его, окружает повсюду с тех пор, как он себя помнит. Запах тяжелого труда и нужды. Запах людей с железными мышцами и костями, людей, превратившихся в скотину. Наниматели уже здесь, одни сидят верхом, другие стоят рядом с лошадьми, держа их за повод, третьи восседают в небольших открытых повозках. Они нанимают пять человек здесь, тридцать там. Одному скотнику требуется несколько помощников, чтобы обрезать овцам копыта. Работа легкая, но за нее почти ничего не заплатят, и мужчины смотрят на него с неприязнью, понимая, что кому-то все же придется потрудиться задарма.

Так было и до Великой войны. Те, кто искал работу, приходили на площадь; те, кто искал работников, нанимали их там. Оглашали плату и отбирали людей. Никакого торга. После войны ситуация изменилась. И в течение двух лет все было иначе – рабочие союзы и социалисты добились уступок. Во время войны таким людям, как Этторе и Валерио, у которых было так мало причин воевать, дали кое-какие обещания, чтобы удержать их в окопах. Им обещали землю, более высокую оплату труда, конец их бесконечных тягот, и, вернувшись домой, они начали бороться, чтобы заставить помещиков выполнить эти обещания. На несколько месяцев их охватил лихорадочный ажиотаж в предвкушении победы. Была организована биржа труда, где можно было нанимать только местных и только членов Союза трудящихся. Была установлена почасовая оплата. Имена членов союза занесли в списки, чтобы каждый был обеспечен работой по справедливости; на все фермы были отправлены представители союза, чтобы контролировать условия труда. Так было всего год назад, в конце 1920-го. Но теперь все вернулось на круги своя. Чаша весов в этой застарелой вражде, глечущей поколениями – веками, – склонилась в другую сторону.

Эта вражда напоминала скалу, которую обтекает поток повседневной жизни. Ведь людям нужно есть, а чтобы есть, им нужно работать. Жизнь должна идти своим чередом, даже когда ее спокойное течение нарушают кровавые события, подобные бойне, устроенной прошлым летом в массерии Джирарди Натале, где хозяин и охранники верхом на лошадях расстреляли работников, вооруженных лишь мотыгами да своей яростью. Хозяева позабыли о подписанных договорах. Тех же, кто пытался протестовать, просто не нанимали. А теперь поползли слухи о новых бандах, шайках головорезов во главе с офицерами-фронтовиками – капитанами и лейтенантами, слетевшими с катушек в окопах, они помнили о нежелании крестьян воевать и презирали их за это. Крестьяне и сами, бывало, нанимали разбойников – *мацциери* (мацца – это дубинки, которыми те орудовали). Но эти новые бандиты иное дело. Их негласно вооружает и поддерживает полиция. Они называют себя *фашио ди комбатименто* и состоят в фашистской партии, в рядах которой царит устрашающее единомыслие.

Иногда вечерами Этторе отправляется в пивную и читает газеты вслух для неграмотных. Он читает статьи из «Коррьере делле Пулья», из «Ла конкиста», из «Аванти!». Он читает о преследовании сторонников синдикализма, о нападках на союзы трудящихся и социалистов в городских советах. В Джоя-дель-Колле прежний порядок найма постепенно вернулся на площадь, и две стороны смотрят друг на друга через непреодолимый барьер, разделяющий работников и работодателей. Каждый ждет, что другой моргнет первым. В фев-

рале была общая забастовка в знак протеста против формирования и вооружения новых банд и нарушения договоров. Забастовка продолжалась три дня, но это была попытка заткнуть пальцем расширяющуюся течь в плотине, за которой неотвратимо поднимается прилив.

Этторе и Валерио протискиваются по направлению к человеку из массерии Валларта; это старик, которому сильно за шестьдесят, с белыми обвисшими усами и застывшим выражением лица, таким же твердым и непроницаемым, как древесный ствол. Пино уже здесь. Он ловит взгляд Этторе и кивает в знак приветствия. Джузеппе Бьянко; Джузеппино; для краткости Пино. Этторе и Пино живут бок о бок с колыбели. Они ровесники, их окружают одни и те же вещи, у них общие надежды и горести, они получили одинаковое, обрывочное, до предела урезанное образование. Оба веселились в дни почитания святых, больше походившие на языческие, чем на христианские праздники, оба прошли войну. У Пино внешность античного героя – огромные добрые глаза, светло-карие, а не черные, как у всех здесь, рот красиво очерчен, верхняя губа чуть выступает над нижней, вьющиеся волосы и открытое выражение лица, такое неуместное здесь, на площади. И сердце у него такое же открытое, он слишком хорош для этой жизни. Только одним отличаются молодые люди, и это различие вбило между ними клин в нынешнем году: Пино женился на своей возлюбленной, а Этторе свою потерял. Девчонки вечно ссорились из-за Пино. Так и вились вокруг него и мечтали всю оставшуюся жизнь, просыпаясь, видеть рядом это лицо. Даже теперь, когда он женат, некоторые не оставляют надежд, но Пино хранит верность Луне, своей маленькой женушке с крепкими грудками и волосами, которые широким потоком спускаются к самым ягодицам. Пино единственный человек из всех знакомых Этторе, способный искренне улыбаться, стоя на площади в предраассветном сумраке.

Он улыбается и сейчас и по-приятельски хлопает Этторе по плечу.

– Что нового? – спрашивает он.

– Ничегошеньки, – отвечает Этторе, пожимая плечами.

– У Луны есть подарок для малыша. Для Якопо, – сообщает Пино с гордым видом. – Она ему кое-что сшила – рубашку. Она даже вышила на ней его инициалы.

Луна иногда подрабатывает у швеи и тщательно собирает все лоскутки и нитки, что плохо лежат. Их, конечно, не хватает на вещь для взрослого, но зато у Якопо теперь есть жилетка, шапочка и пара крохотных пинеток.

– Ей бы стоило откладывать такие вещи до той поры, пока у вас будет собственный малыш, – говорит Этторе, и Пино ухмыляется. Он мечтает о детях, о куче детей, о целом выводке. О том, сможет ли он их прокормить, Пино, кажется, вовсе не заботится. Вероятно, он думает, что дети существуют сами по себе, как домашние духи, блуждающие огоньки или путти.

– Якопо к тому времени уже вырастет из них. Уверен, что Паола отдаст нам их обратно.

– Неизвестно.

– Ты думаешь, она захочет сохранить их на память о том, каким он был маленьким? – говорит Пино.

Этторе вздыхает. Он-то подумал, что Якопо вряд ли так скоро вырастет из этих вещичек. Его племянник слабенький и слишком тихий. Так много малышей умирает. Этторе тревожится за него и оттого хмурится, глядя на мальчика. Если Паола замечает это, она с бравно отгоняет Этторе. Она полагает, что его страхи каким-то образом материализуются и обернутся несчастьем для малыша.

Человек из массерии Валларта достает из кармана листок и разворачивает его. Ожидающие устремляют на него настороженные взгляды. Это странная церемония – наступило время урожая, который надо собрать, и работники это знают, но даже теперь они не доверяют этому человеку. Они будут уверены, что получили работу, только стоя в поле с серпами в руках. Они будут уверены, что получили плату, только когда управляющий вложит им в

руку монеты в следующую субботу. Наниматель пристально смотрит Этторе в глаза. Этторе выдерживает его взгляд. Он был членом союза, и наниматель знает об этом, знает его имя, знает его в лицо. Люди делятся на тех, кто устраивает забастовки, возглавляет демонстрации, и на тех, кто просто следует за ними. Этторе из первых. Во всяком случае, так было раньше. В течение шести месяцев, что прошли с тех пор, как он потерял Ливию, Этторе не участвует в этом. Он работает упорно и бездумно, не обращая внимания на голод и усталость. За все это время ни одной мыслью не обращался он к революции, своим товарищам, голодающим крестьянам, вопросам вечной несправедливости. Но наниматели не видят этой перемены в его сердце. Они не могут знать, что сердца у него больше нет.

Его имя оказалось в черном списке, тем не менее он трудится без отдыха и набрасывается на землю с тяжелой мотыгой; для нанимателей он являет собой загадку – возмутитель спокойствия, работающий, словно Геркулес. Старик с белыми усами легким кивком дает понять, что Этторе нанят, отмечая его имя. Затем узловатым пальцем указывает на тех, кого выбрал, включая Пино. Работники собираются вместе, чтобы отправиться в долгий путь до фермы. Валерио не попал в их число. Годы работы согнули его спину, которая теперь походит на дерево, скривившееся под порывами ветра, и, хотя на площади он старается сдерживать кашель, время от времени спазмы сотрясают его тело. Вчера он сжал вполосину меньше пшеницы, чем другие, а у непреклонного нанимателя безошибочная память на такие вещи. Этторе на прощание похлопывает отца по плечу.

– Иди туда, к скотнику. Давай скорее, пока его денежки не уплыли к другим, – говорит Этторе. И Валерио кивает.

– Трудись как следует, сынок, – произносит он и заходится кашлем.

Этторе ничего не отвечает. В конце концов, другой работы нет.

К тому времени, когда они добираются до фермы, поднимающееся солнце окрашивает небосвод в нежные цвета. Пино на минуту поворачивается на восток, закрывает глаза и делает глубокий вдох, словно надеется, подобно растению, напитаться от солнца энергией перед трудовым днем. Когда небо так полыхает, Этторе представляет, как Ливия поднесла бы козырьком руку к черным глазам. Когда идет дождь, Этторе видит Ливию, поглядывающую на облака и улыбающуюся каплям воды, которые падают на ее кожу. Когда темнеет, Этторе вспоминает их свидания под старинными сводами Джои. В крошечном мраке они могли наслаждаться лишь запахами и прикосновениями, она брала его ищущую руку в свои и целовала кончики пальцев, распаляя его желание. Этторе знает, что эти мысли отражаются на его лице, судя по глазам Пино, который замечает, как Этторе постепенно уходит в себя, все глубже погружаясь в омут горя и ярости; знает Этторе и то, что старому другу нечего ему сказать, нечем утешить. Перед началом работы им всем дают воды и хлеба. Хлеб свежий, что бывает очень редко, и мужчины вгрызаются в него, как собаки. А вода имеет привкус каменной цистерны, в которой она хранится. Сразу после этого они приступают к работе. Просовывают руки в деревянные щитки, которые должны предохранять от порезов, но ценятся фермерами за то, что с их помощью можно захватить больше колосьев. Один работник, повыше и покрепче, с более длинными руками, орудуя серпом, позади идет второй, вяжет сжатые колосья в снопы.

Часами слышится лишь свист серпов и треск, с которым падает и собирается пшеница. Высоко над полем в раскаленном небе кружат черные ястребы, привлеченные запахом и движением. Издали кажется, что урожай хороший, – всюду раскинулись поля золотистых колосьев, которые колышет знойный южный ветер, *алтина*. Но вблизи видно, что стебли реже и короче, чем должны быть, в колосе мало зерен, и сидят они слишком далеко друг от друга. Вопреки ожиданиям урожай будет не столь богатым, а плата работникам снизится еще больше. В полдень зной становится невыносимым; он лишает людей сил, тянет к земле, словно железные оковы. Лошади смотрителей дремлют, опустив головы и закрыв глаза, им

лень даже отгонять мух. Управляющий объявляет перерыв, работники отдыхают и получают воду, которой хватает лишь для того, чтобы смочить пересохшее горло. Едва их тени смещаются на две пяди в сторону, как управляющий смотрит на часы, поднимает их, и работа продолжается.

В какой-то момент, двигаясь параллельно, Пино и Этторе оказываются неподалеку друг от друга.

– Луна попробует купить сегодня фасоли, – доверительно сообщает Пино.

– Удачи ей. Надеюсь, бакалейщик ее не ограбит.

– Она умная, моя Луна. Думаю, ей удастся раздобыть хоть немного, тогда у нас будет чудесный обед.

Пино постоянно говорит о еде. Его преследуют гастрономические фантазии. Это помогает ему справляться с голодом, чего не скажешь об Этторе, у которого живот сводит от одной мысли о стручках фасоли, сваренных с лавровым листом, приправленных чесноком и перцем, политых ароматным оливковым маслом. Он сглатывает слюну.

– Пино, только не о еде, – умоляет он.

– Прости, Этторе, просто не могу удержаться. Все, о чем я мечтаю, – это еда и Луна.

– Тогда мечтай молча, черт бы тебя побрал, – говорит работник, идущий за Этторе.

– Пусть поговорит о своей женушке, я не против, но только без подробностей. – Это подает голос парнишка, ему не больше четырнадцати, и он криво улыбается Пино.

– Если будешь мечтать о моей жене, я тебя поймаю и отрежу яйца, – бранится Пино, грозя мальчишке серпом, но он говорит не всерьез, и парень только шире улыбается, сверкая обломками передних зубов.

Поднимается алтина, принося с собой запах далекой пустыни, проносится над серыми каменными стенами, огораживающими поле, шелестит в глянцевых листьях растущей в углу смоковницы. Земля под ногами иссушена в пыль, небо безнадежно ясное. Мужчины облизывают губы, но они все равно трескаются. Слепни нахально жужжат над головами и шеями и кусают, зная, что люди не станут тратить силы на то, чтобы отогнать их. Этторе работает, стараясь ни о чем не думать. Внезапно он набредает на пучок дикой рукколы, горькой и жесткой. Пока никто не видит, он срывает ее и запихивает в рот, чувствуя, как горло наполняется слюной и острым вкусом травы. Смотрители в конце дня особенно бдительны, они не спускают глаз с работников, чтобы те не вздумали снизить темп или самовольно передохнуть, опустив серпы. Человек, вяжущий в снопы колосья, которые срезает Этторе, сильно отстает – он то и дело выпрямляется, хватаясь за поясницу и морщась от боли. У смотрителя на боку висит свернутый длинный кнут. Рука так и тянется к нему, словно в нетерпении пустить его в ход. У Этторе еще сильнее сводит живот после того, как он съел траву; в голове возникает удивительная легкость, это часто бывает с ним к концу дня. Его тело продолжает работать, невзирая ни на что, рука делает взмах серпом, мышцы спины напрягаются, чтобы остановить ее движение, рука крепче сжимает рукоять перед новым взмахом. Он ясно ощущает, как трется о кость каждое сухожилие, но его мысли уплывают куда-то далеко, уносясь от жары, тяжелого труда, удушающего ветра.

Этторе как-то слышал об отверстии в земле, неподалеку от городка под названием Кастеллана, что в двадцати пяти километрах от Джои. Отверстие это широкое, и ничто из того, что попадает туда, не возвращается обратно, кроме летучих мышей, миллионами извергающихся из него, подобно клубам черного дыма. Иногда наружу вырываются клочья белого холодного тумана; говорят, это призраки людей, подошедших слишком близко к краю дыры и упавших вниз. Местные считают это место вратами ада; они ведут вниз, в самое сердце земли, в темноту такую плотную и тяжелую, что может раздавить. Этторе думает об этой дыре, а его тело продолжает трудиться, спина горит, словно в нее вонзили нож, внутренности сводят судороги от съеденной травы. Он представляет себе, как прыгнет в эту дыру

и полетит сквозь белый туман, а потом сквозь прохладную вязкую темноту, он представляет, как свернется калачиком в древней черной бездне, в каменном сердце земли, где нет места ничему человеческому, и будет ждать. Не чего-то конкретного, а просто ждать; там, где холодно, покойно и тихо.

Внезапно он осознает, что кто-то произносит его имя. Он моргает и видит неподалеку встревоженного Пино. Этторе понимает, что его серп не движется, а сам он стоит, выпрямившись, уперев серп в носок своего башмака. Он, кажется, не может заставить себя сжать рукоять. Он замечает, как позади Пино два смотрителя переговариваются и обмениваются кивками, видит, как они понукают сонных лошадей и направляются в его сторону. Ему кажется, что он не в силах оторваться мыслями от дыры в земле и побороть наваждение. Собрав всю свою волю, он сжимает рукоять и поднимает серп, поворачивается вправо, замахивается так, чтобы срезать нужное количество стеблей. Но замах слишком силен, из-за тяжести серпа он теряет равновесие. Его тело разворачивается. Он проделывает это движение тысячу раз на дню, тысячи дней кряду; он не может остановиться, как не может прекратить биение своего сердца. Но он упадет, если не сумеет изменить положения; и хотя упасть не так страшно, как покалечиться, выбирать уже не в его власти. Тело ему больше не повинует, оно действует по собственному произволу, ведь он сам приучил его к этому. Этторе шатается и подается вперед. Левая нога оказывается на пути у опускающегося серпа, и он уже ничего не может изменить, хотя отчетливо понимает, что сейчас произойдет. Металл легко и точно входит в его плоть. Этторе чувствует, как острие доходит до кости и застревает в ней. Пино вскрикивает, вскрикивает и работник, идущий позади Этторе. Алые капли крови окрашивают пшеничные стебли, кровь слишком красная и яркая, чтобы быть настоящей, и Этторе падает.

Клэр

В Джоя-дель-Колле царит тишина. Лучи вечернего солнца заливают улицы, отражаясь от гладких плит брусчатки и каменных стен. Они проезжают по аллеям, вдоль которых стоят элегантные оштукатуренные четырехэтажные виллы, с симметричными рядами закрытых ставнями окон; дорога покрыта слоем навоза – свежего, над которым роятся мухи, и старого, сухого. Женщины идут по своим делам с большими кувшинами или корзинами, которые несут на плече или на голове, никто не переговаривается. Их машина, единственная на улицах городка, медленно тащится позади груженной бочонками телеги. Клэр замечает, что нигде не видно мужчин, и, когда она говорит об этом Бойду, он только пожимает плечами:

– Они все за городом на сборе урожая, дорогая.

– А разве не рано? – спрашивает Клэр и тут же вспоминает, что видела из окна поезда жнецов, взмахивающих серпами с четкостью метронома. Она уже собирается сказать что-то о нехватке тракторов или уборочных машин, но осекается, не произнеся ни слова. Ей говорили, что юг беден. После войны бедность царит повсюду, но на юге это ощущается особенно остро. От нужды здесь скатились в беспросветную нищету.

В зеркале заднего вида она ловит на себе внимательный взгляд шофера. Клэр отодвигается и улыбается Пипу. Автомобиль сворачивает на Виа Гарибальди и движется между высокими, богато украшенными фасадами домов. Клэр еще не доводилось видеть таких красивых строений. Некоторые из них можно было бы назвать дворцами, думает она. Палаццо. Водитель снижает скорость, нажимает на гудок, и в стене перед одним из домов открываются ворота, пропуская автомобиль. Они проезжают под широким арочным пролетом и оказываются в открытом внутреннем дворе.

– Вот это да! – с удивлением восклицает Клэр. И Бойд, кажется, доволен ее реакцией.

– Многие большие дома имеют такую вот планировку – вокруг внутреннего двора. Но снаружи об этом даже не догадываешься.

Над их головами синее квадрат чистого, без единого облачка неба.

– Я и не предполагала, что здесь есть такие дома. Ведь... – Клэр смущенно умолкает. – Ведь это же очень бедный край.

Водитель пристально смотрит на нее в зеркало.

– Крестьяне бедны, землевладельцы богаты, как везде, – отвечает Бойд. Он сжимает ее руку. – Не беспокойся, любимая, я привез тебя не в дикую Африку.

В крытой галерее, окружающей двор, показывается несколько расторопных слуг, готовых взять их вещи. Клэр чувствует, как колотится ее сердце, когда они втроем выходят из машины. Хозяева появляются из двустворчатых дверей – супружеская пара, мужчина, распростерший руки, словно приветствуя старых друзей, и женщина с ослепительной улыбкой.

– Миссис Кингсли! Мы так рады видеть вас здесь! – произносит мужчина. Он кладет ей на плечи тяжелые теплые ладони и целует в обе щеки.

– Вы, должно быть, синьор Кардетта. Очень приятно. Пьячере, – здоровается Клэр. Произнося итальянское приветствие, она смущается, не будучи уверена в своем произношении.

– Леандро Кардетта, к вашим услугам. Вы говорите по-итальянски, миссис Кингсли? Это же чудесно!

– О, совсем немного!

– Чепуха, просто она скромничает, Кардетта. Она говорит очень хорошо, – вступает в разговор Бойд.

– Но я не поняла ни слова из того, что водитель говорил носильщику на станции. Это меня совсем обескуражило.

– Ах, они же, наверное, говорили на местном наречии, дорогая моя миссис Кингсли. Это совсем другое дело. Для крестьян, живущих здесь, итальянский чужой язык, как для вас. – Кардетта мягко поворачивает ее к женщине с лучезарной улыбкой. – Разрешите представить вам мою жену, Марчи.

– Очень приятно, миссис Кардетта!

– О, зовите меня Марчи – просто Марчи! Когда люди вокруг называют меня миссис Кардетта, я себя не узнаю, – говорит она. Эффектная, элегантная, с узкими бедрами, мальчишескими плечами и неожиданно пышной, высокой грудью. У нее голубые глаза и волосы цвета спелого ячменя, подстриженные до подбородка и уложенные волнами. Слыша сильный американский акцент, Клэр делает усилие, чтобы не выдать своего удивления. – Как, неужели никто из этих парней не предостерег вас и не сказал, что я американка? – спрашивает Марчи, но вовсе не выглядит при этом огорченной.

– Предостерег? Это совсем не то слово, но я действительно была уверена, что вы итальянка, миссис Кардетта, – Марчи. Пожалуйста, извините меня.

– Извинить за что? А кто же этот прекрасный юноша? – Марчи протягивает Пипу руку, и, хотя он пожимает ее со своей обычной уверенностью и галантностью, на его щеках при этом выступает краска.

Так же краснеет и она сама, думает Клэр, стоит кому-нибудь из мужчин, да и вообще любому незнакомому человеку, оказать ей малейший знак внимания; она чувствует прилив нежности к Пипу. Он ждет, как и следует, когда синьор Кардетта протянет ему руку и представится, и затем отвечает на приветствие почтительно, но не подобострастно. Она гордится Пипом и бросает взгляд на Бойда в надежде, что он разделяет ее чувства. Но Бойд наблюдает за Леандро Кардеттой, как человек, который следит за спящим зверем, подозревая, что тот только притворяется.

– Спасибо, что вы послали за нами вашу изумительную машину, мистер Кардетта. Это ведь «альфа-ромео»? Она очень красивая, но я не понял, что это за модель, – восторженно говорит Пип.

Леандро скалится в ответ.

– *Bene, bene*². У вас юноша, как я вижу, безупречный вкус, – произносит он. – Но модель вы не определите, она совсем новая, их выпустили всего несколько штук. Редкость, знаете ли, – вот ключ к подлинной ценности.

Вдвоем они подходят к темно-красной машине, чтобы полюбоваться на нее с разных сторон. Марчи улыбается и берет Клэр под руку, она такая раскованная, общительная, – Клэр хотелось бы почувствовать, каково это. Марчи одета во все белое, как невеста: на ней длинная юбка и туника из какой-то легкой, летящей материи, колышущейся в такт любому ее движению, струящейся и обвивающей вокруг ее бедер. Пока они идут к дверям, Клэр ощущает запах ее духов – мускус и сирень и какой-то непостижимый намек на влагу. Исключительно интимный аромат, одновременно манящий и навязчивый. На ее губах алая помада, на щеках – пудра, вблизи Клэр смогла разглядеть тонкие линии подводки в уголках глаз. Ей лет сорок, может, чуть больше, но благодаря обаянию она кажется намного моложе, моложе, чем Клэр, которая внезапно ощущает сильную жажду, чувствует себя ужасно грязной и усталой. Только когда они оказываются в тени галереи, Клэр вдруг вспоминает, что Бойда оставили одного посреди двора. Она оглядывается, чтобы улыбнуться ему, но он стоит, засунув руки в карманы и хмуро потупив взгляд, словно раздосадованный пылью на своих ботинках.

Марчи увлекает ее дальше, без умолку тараторя:

– Дорогая Клэр, не могу выразить, как я *взволнована* тем, что вы приехали – вы и Пип, конечно, но главным образом вы, – бедный Пип! Нет, все в порядке, он меня не слышит.

² Хорошо, хорошо (*ит.*).

Наконец-то будет с кем поговорить, кроме мужа, да и что женщина может сказать мужчине? Я имею в виду, при помощи *слов*, ну вы меня понимаете, а не на том языке, которым мы все так хорошо владеем. — Она склонила голову к Клэр, многозначительно глянула на нее и слегка толкнула плечом. — Я имею в виду, поболтать *обо всем*. Итальянки, точнее говоря апулийки, поскольку едва ли можно сравнивать местный тип с жителями Милана или Рима, — так вот, они смотрят на меня так, будто я с луны свалилась! Ни слова по-английски, ни одна из них. А я *пыталась* учить итальянский — поверьте мне — и даже сделала кое-какие успехи, но когда тебя не хотят понимать, черт возьми, то будьте уверены, что и не поймут. Смотрят на тебя своими черными глазами — вы видели их глаза? Заметили, какие у них глаза? Словно антрацитовые пуговицы на плаще из дерюги, лица-то у них смуглявые. Мы должны быть осторожны, нельзя допустить, чтобы вы слишком долго находились на солнце, дорогая, — ваша кожа такая нежная... Как забавно, что здесь за полгода можно не встретить ни одной блондинки, а теперь нас целых две под одной крышей!

Марчи болтает и болтает, сопровождая Клэр наверх к ее комнате, которую она будет делить с Бойдом. Дом теплый, темный, гулкий. Солнце в него не допускается — с солнечной, западной стороны все ставни закрыты, так что лишь тонкие яркие лучи кое-где проникают внутрь. У Клэр уже начинают болеть щеки от необходимости непрерывно улыбаться, но напряжение, не отпускавшее ее с того момента, как они выехали из Бари, начинает постепенно спадать. Хотя она чувствует себя не совсем уютно в компании новых знакомых, впрочем, как всегда. Вечно ее терзает страх, что она не сможет поддержать беседу и наступит неловкое молчание, пока она будет мучительно искать способ возобновить разговор. Но, кажется, здесь таких неловких пауз будет немного. Скорее всего, здесь вообще не будет пауз.

Когда они доходят до комнаты, Марчи на секунду берет ее руку, весело пожимает и оставляет Клэр переодеваться. С ее уходом воцаряется тишина. Клэр осматривается, видит книгу, которую читает Бойд, его очки, аккуратно положенные рядом с кроватью. Комната большая и квадратная, с выходящими на юг окнами. Клэр открывает ставни, впуская знойный воздух и косые лучи заходящего солнца. Стены выкрашены в яркий охристый цвет, высокий потолок покоится на темных деревянных балках, пол выложен терракотовой плиткой. Над камином висит картина с изображением Мадонны, другая — с видом Парижа — над кроватью с изукрашенной медной спинкой и заметно продавленным посередине матрасом. Когда слуга вносит багаж, дверь протестующе скрипит. Она сделана из такого же старого дерева, что и потолочные балки, веса ей добавляют и массивные медные петли. Словно в замке, думает Клэр. Или в тюрьме. Она опирается на подоконник и смотрит на теснящиеся внизу красные крыши и узкие улицы. Прямо позади дома Кардетты разбит небольшой сад, где мощеных дорожек больше, чем цветочных клумб. Там можно укрыться от солнца в тени смоковниц и олив или на оплетенной виноградом веранде. В саду множество пряных растений, но мало цветов и вообще нет травы. Одну из смоковниц облюбовала стайка птичек. Клэр они хорошо видны, пташки шуршат листьями, скачут, словно блохи, и скорее щебечут, чем поют, но и это приятный звук.

Скрип и скрежет дверных петель возвещает о приходе Бойда. В его походке и манере стоять слегка сутулясь сквозит некое самоуничижение, словно он собирается просить прощения. Клэр улыбается и направляется к нему, чтобы его обнять, прижаться к гладкой ткани рубашки и небольшому треугольнику обнаженного тела в зазоре ворот. Она гораздо ниже его, и ее волосы касаются жестких уголков и пуговиц воротника. От него исходит кисловатый запах, и она не помнит, чтобы ощущала его прежде. Разве что однажды. От этого ей становится не по себе.

— Я так рад, — бормочет он ей в макушку. Затем отстраняет ее на расстояние вытянутых рук и внимательно оглядывает. — Ты же была не против приехать сюда?

Клэр пожимает плечами и не может заставить себя солгать. Ведь на самом-то деле она была против. Ей нравится размеренная домашняя жизнь в Хэмпстеде. Во время каникул она собиралась вместе с Пипом пройтись по их любимым местам в Лондоне. Ей не хотелось признаваться себе, что она обрадовалась, когда Бойд сообщил, что уезжает на все лето в Италию, но это было так. Для него было лучше заниматься делом, а для нее с Пипом – иметь дом в своем распоряжении и проводить время вдвоем. Шуметь и дурачиться, как им заблагорассудится. Говорить, о чем хочется. Она грезилась о лете, таком чудесно длинном и безмятежном, но звонок Бойда развеял ее мечты.

– Я была удивлена. Обычно ты не просишь меня пускаться в путешествия, да еще в такие длинные. Но со мной был Пип, и мы прекрасно провели время. – Это, во всяком случае, было правдой.

– Я знаю, что это могло показаться несколько необычным. Но Кардетта настаивает, чтобы я остался здесь, пока не будет закончен проект, и я не могу... это слишком выгодный заказ, чтобы от него отказываться. И вообще, мне нравится эта работа. Проект интересный. – Он целует ее в лоб, не отнимая ладони от ее щеки. – Я не мог и помыслить о такой долгой разлуке, – говорит он.

Клэр хмурится:

– Но когда ты в первый раз позвонил, ты сказал, что это Кардетта захотел, чтобы мы приехали – Пип и я? Зачем? Чтобы составить компанию Марчи?

– Да. Возможно. В любом случае он только предложил и навел меня на мысль. Ведь приглашение должно было исходить от него. Я не мог обратиться к нему с подобной просьбой и тем самым вынудить принять вас.

– Понятно.

Клэр высвобождается из его рук и идет распаковывать сумки. Ей все представлялось иначе, когда он первый раз позвонил вскоре по прибытии в Италию. Даже искаженный и дребезжащий, голос на другом конце провода звучал напряженно, встревоженно, почти испуганно. Она поняла это по резкой, обрывистой манере разговора и сразу же ощутила страх и знакомую тяжесть в желудке, словно наглоталась мокрого песка. Они были женаты десять лет, и все это время она оставалась настороже, высматривая малейшие признаки подступающей депрессии. Последствия были ей слишком хорошо знакомы. И сейчас грозные признаки налицо – она заметила их сразу, едва только он помахал им из машины. Но иногда все сходило на нет само собой. Она не собирается опережать события или провоцировать неприятности, которых, возможно, удастся избежать.

Робкая от рождения, выросшая в семье, где никто и никогда не повышал голос, не спорил и не говорил о своих чувствах, Клэр всем своим существом стремилась к миру и спокойствию: никаких потрясений, неожиданностей или неловких ситуаций. С годами приступы, случавшиеся у Бойда, до предела обострили ее страхи. Целые дни, недели, иногда месяцы он бывал сам не свой, молчаливый, непредсказуемый, непроницаемый. Пил бренди в любое время дня и ночи, не работал, не выходил из дому, почти ничего не ел. Молчание сгушалось вокруг него подобно черной туче, а Клэр бывала слишком напугана, чтобы прорваться сквозь эту завесу. Она ходила вокруг его скорлупы, мучаясь от собственной робости, неспособности вытащить его на свет божий. Порой стоило ему посмотреть на нее, как он начинал судорожно рыдать. Порой он вовсе переставал ее замечать. Она помнила, что случилось, когда ей удалось уговорить его отправиться в Нью-Йорк несколько лет назад, и что *могло бы* случиться, не прими она мер. В такой ситуации она сама не могла ни спать, ни есть. Заложница его настроения, она была слишком напугана, чтобы подать голос. Когда все заканчивалось и Бойд наконец брал себя в руки, принимал горячую ванну и просил чашку чая, ее облегчение бывало таким огромным, что приходилось садиться и ждать, пока восстановится дыхание.

Бойд смотрит, как она вешает свои юбки и платья в громадный шкаф, стоящий у противоположной стены. Он сидит на краю постели, положив ногу на ногу и обхватив руками колено.

– Это могла бы сделать служанка, у Кардетты их, кажется, несколько сотен, – говорит он.

Клэр улыбается ему через плечо.

– Я вполне способна справиться и без горничной, – отвечает она. – Значит, он очень богат?

– Полагаю, да. Это один из старейших и самых больших домов в Джое, во всяком случае из тех, которые он мог получить.

– Да?

– Кардетта не всегда был богат – он двадцать лет прожил в Америке. У меня сложилось впечатление, что местные синьоры – высшее здешнее общество – относятся к нему как к выскочке.

– Что ж, думаю, их можно понять, – отвечает она. – Особенно учитывая его столь долгое отсутствие. Как он нажил свое состояние?

– В Нью-Йорке.

– Да, но...

– Оставь это и иди сюда, – говорит он, притворяясь рассерженным.

Клэр смотрит на мятую шелковую блузку, которую держит в руках, ее бледно-желтый цвет, точь-в-точь такой, как напоенное золотистым сиянием небо за окном. Ей бы очень хотелось откликнуться на его призыв не задумываясь, но она ничего не может с собой поделать. И все же она улыбается, нерешительно присаживаясь к нему на колени. Он обнимает ее за талию и прикидывает лицом к ее груди, отчего-то это получается несексуально, как если бы он хотел спрятаться.

– Клэр, – шепчет он, и она чувствует его горячее дыхание на своей коже.

– У тебя все хорошо, дорогой? – спрашивает она, стараясь, чтобы вопрос прозвучал бодро и словно бы невзначай.

– Теперь, когда ты здесь, да. – Он сжимает ее в объятиях, так что часы упираются Клэр в ребра. – Я так люблю тебя, моя драгоценная Клэр.

– И я тебя люблю, – говорит она и тут замечает, какие сухие у нее губы. Сухие и скупые. Она на миг закрывает глаза, желая, чтобы он остановился, чтобы ничего больше не говорил. Но он не останавливается и не разжимает объятий.

– Знаешь, я бы умер без тебя. Клянусь. – Клэр хочется протестовать – как она пыталась делать и раньше. В надежде, что он поймет, насколько тягостны ей эти слова. – Мой ангел, – шепчет он. – Она чувствует, как от напряжения дрожит его плечо. А может, это дрожит она сама. – Ангел мой, я бы умер без тебя. – Ей хочется сказать: *нет, не умер бы*, но, когда он говорит так, что-то словно сжимает ей горло и наружу не вырывается ни единого звука. Она сама не знает, что это: вина, страх или злость. Она напоминает себе, что большинство женщин были бы благодарны мужьям за признание в столь сильной привязанности и ей тоже следует быть благодарной.

– Я пойду посмотрю, как там Пип, – наконец произносит Клэр.

После захода солнца они присоединяются к хозяевам в саду, где на оплетенной виноградом веранде стоит длинный стол. Молчаливая девушка с черными волосами, разделенными посередине пробором, в старомодной блузке с высоким воротом и оборками, приносит поднос с бокалами и кувшином какого-то темного напитка и начинает разливать. Маленькие плоды, словно камешки, с тихим плеском падают в бокалы.

– О, прекрасно – *амарена*, – говорит Марчи, хлопая в ладоши. – Это как раз то, что требуется нашим гостям после долгого путешествия. Сок дикой вишни. Нам не всегда удастся ее достать, но, если везет, девушки на кухне делают из нее чудесный напиток. Кухарка никому не говорит рецепта, представьте себе – отказывается наотрез. Она добавляет какие-то травы, которые я никак не могу определить, и утверждает, что это секрет ее бабки. Ну не смешно ли? Делать тайны из какой-то ерунды, вроде рецепта?

– Это вовсе не ерунда, – спокойно возражает жене Леандро. – У нее так мало того, что она может назвать своим.

– Что ж, прекрасно, – продолжает Марчи, пропустив это мимо ушей. – Давайте же, пробуйте. Тут сахар, если хотите, но мне кажется, что лучше так. – Она подмигивает Пипу, и он следует ее совету.

Пип переоделся в чистую рубашку, жилетку и льняной пиджак песочного цвета, но его костюм кажется здесь неуместным. Он похож на школьника, наспех принарядившегося перед выходом в город и важно держащего себя по такому случаю. Словно поняв это, Пип со смущенным видом сидит на краешке стула. Клэр подносит к губам напиток.

– Очень вкусно, – произносит она машинально и внезапно понимает, что это правда. Она украдкой посматривает на Леандро Кардетту.

На вид ему лет пятьдесят, у него роскошные, седые, стального цвета волосы, зачесанные назад с висков и высокого, благородно очерченного лба. Его нельзя назвать красавцем, но все же он хорош собой. Его лицо не лишено значительности, даже определенной скульптурной выразительности, – подбородок, нос, брови. Кожа гладкая, приятного бронзового оттенка, словно хорошо выдубленная. По обеим сторонам рта залегают глубокие складки, под глазами – мешки, а сами глаза такие черные, что зрачки почти не выделяются на фоне радужки и оттого кажутся огромными. Возможно, именно это делает спокойное выражение его лица теплым и дружеским. Он не очень высок, намного ниже Бойда; у него сильные квадратные плечи и могучая грудная клетка, под рубашкой уже намечается небольшое брюшко – свидетельство хорошей жизни. Он сидит, откинувшись на спинку стула, и держит маленький бокал амарены с неожиданным изяществом. Он наблюдателен, но без дерзости, и элегантен.

Перехватывая брошенный украдкой взгляд Клэр, он улыбается.

– Если что-то может скрасить ваше пребывание у нас, миссис Кингсли, только скажите, – учтиво произносит он.

– Конечно, если это не музыка, магазины, кино или поход в казино – в этом случае вам не повезло! – объявляет Марчи.

– Марчи, *sarà*³, не стоит говорить так, словно в Джое вовсе нет способов развлечься. У нас есть прекрасный театр... вы любите театр, миссис Кингсли?

– О да, очень. И Пип – тоже. Он показал себя прекрасным актером.

– Это правда, Филипп? – Марчи тянется через стол и сжимает его предплечье, устремив на Пипа пристальный взгляд.

– Да, я... – Голос его не слушается, и он вынужден откашляться. – В прошлом семестре я играл в пьесе, говорили, что я неплохо справился, я был Ариэлем в «Буре».

– Ты в самом деле играл блистательно, – говорит Клэр.

– Но я же актриса, вы этого не знали? Вернее, была в Нью-Йорке. Здесь это никому не нужно. Но как же я люблю театр! Люблю играть... Это что-то в крови, зов, на который нельзя не откликнуться. Ты это чувствуешь, Филипп? Игра заставляет твое сердце биться сильнее?

– Ну, я... я, конечно, хотел бы попробовать себя еще в какой-нибудь пьесе, – говорит он. – Но ведь это же нельзя сделать своей профессией?

³ Дорогая (*ит.*).

Сейчас устами юноши заговорил Бойд, и Клэр охватывает тоскливое чувство. Пип воспарял на сцене. Она это видела.

– Почему нет? Я сделала.

– Пип хорошо учится. Он пойдет в Оксфорд, а затем в парламент, – вступает в разговор Бойд. Он делает глоток и слегка кривит губы.

– Добавь сахару, если для тебя слишком кисло, – предлагает Леандро, передавая ему сахарницу. Бойд слегка улыбается, не глядя на него, и кладет сахар. – Парламент? То есть юриспруденция? А почему сразу не в мавзолей? Бедный мальчик!

– Ничего подобного. Мой отец готовил меня к юридическому поприщу, но у меня не было для этого способностей. А у Пипа они есть. Глупо не воспользоваться такой удачей.

– А чего хочет сам Пип? – Марчи произносит это непринужденно, но Клэр замечает, что Бойд воспринимает слова Марчи как вызов.

– Он еще мальчик. Он не может знать, чего хочет, – говорит он.

Марчи хлопает Пипа по плечу и весело подмигивает:

– Я с ними поработаю, не беспокойся. Разве может юриспруденция сравниться с аплодисментами?

К немалому облегчению Клэр, Бойд ничего не отвечает.

Ужин состоит из множества блюд. Некоторые подаются одновременно, другие с небольшими паузами. Свежие белые сыры, разные виды хлеба, овощи, приправленные лимонным соком и оливковым маслом, паста с брокколи, рулеты из телятины, свежайшая focaccia, источающая оливковое масло и аромат розмарина. Пип ест так, словно в течение нескольких дней у него не было во рту и маковой росинки, но даже он в конце концов сдается. Он беспокойно ерзает на стуле, и тут Леандро внезапно начинает смеяться низким басистым смехом:

– Филипп, я должен был тебя предупредить. Извини. В этом доме еду будут приносить до тех пор, пока ты опорожняешь тарелку.

После стакана вина Пип уже не выглядит таким скованным.

– Кажется, мне здесь очень понравится, – говорит он, и Леандро вновь смеется.

– Может, стоит прогуляться перед сном, осмотреть город, как раз и еда немного уляжется? – предлагает Клэр. Она тоже переела, запах свежих продуктов пробудил дремавший голод, на который она в течение нескольких дней не обращала внимания. Марчи и Леандро переглядываются. – Мне казалось, в Италии это принято. *La passeggiata*?⁴ – спрашивает Клэр.

– Да, миссис Кингсли, именно так. Но здесь, на юге, мы обычно выходим на *пасседжиа-ту* раньше, около шести, когда садится солнце. Я имею в виду благородных господ. В такой поздний час на улицах... в основном батраки, которые поздно возвращаются с полей. Это, конечно, не обязательное правило, но, может быть, завтра мы выберем более подходящее время для прогулки, – объясняет Леандро.

– Хорошо, – отвечает Клэр.

Леандро одобрительно кивает, словно радуясь ее сговорчивости. А Клэр про себя удивляется такому резкому разграничению людей на крестьян и аристократию, так что среднему классу, к которому в Англии принадлежат она и Бойд, просто не остается места.

После ужина Марчи предлагает Клэр вместо прогулки экскурсию по дому. Бойд и Леандро остаются за столом, они пьют терпкий анисовый ликер, который Клэр не может заставить себя даже попробовать, а Пип от него морщится. Леандро набивает и закуривает длинную трубку, сделанную из какого-то светлого дерева и слоновой кости. Ее синеватый дым поднимается в воздух, словно призрак. Пип пребывает в нерешительности. Он уже не

⁴ Прогулка? (ит.)

такой маленький, чтобы следовать за женщинами, но и недостаточно взрослый, чтобы оставаться с мужчинами. Его глаза покраснели и стали сонными.

– Ты выглядишь усталым, – замечает Клэр. – Почему бы тебе не лечь спать? Я тоже скоро лягу. – Ей кажется, что он с радостью побудет один, почитает, осмотрит свою комнату, и по выражению облегчения на его лице понимает, что угадала.

– Ты права, Клэр, – говорит он. – Вы меня простите, мистер Кардетта? Отец?

– Конечно, Филипп. – Леандро кивает и благожелательно улыбается. – Отдохни как следует. Завтра мы с тобой побеседуем об автомобилях, я хочу показать тебе кое-что интересное, думаю, тебе понравится.

Марчи уводит Клэр. Переходя из комнаты в комнату, она зажигает свет, не утруждая себя тем, чтобы его гасить, это она оставляет слугам. Ее ноги в кожаных сандалиях ступают почти бесшумно, одежда подчеркивает изгибы тонкого стана. Через библиотеку и череду строгих кабинетов с массивными письменными столами и громоздкими стульями они проходят в просторную гостиную, убранную гораздо богаче, а затем в столовую с расписной лепниной на потолке и обеденным столом, за которым могут свободно разместиться двадцать четыре персоны. Полы выложены полированным камнем или разноцветной, образующей сложные узоры плиткой; на всех окнах крепкие ставни и тяжелые портьеры, подвешенные плетеными золотыми шнурами. Все богато, с претензией на подлинную роскошь, но Клэр находит это гнетущим, мертвенным, словно застывшим на полвека. Она представляет, как скрипит воздух, когда они протискиваются сквозь него. Это место пахнет камнем, сухим деревом и пыльным дамастом.

Спустившись по мраморной лестнице, Марчи поворачивается к Клэр.

– Как вам все это? – спрашивает она. Она произносит слова слитно, на американский манер: *как вам все это?*

– Просто великолепно, – отвечает Клэр после небольшой паузы.

Марчи удовлетворенно улыбается:

– Ох уж эти британцы, всегда так чертовски вежливы! Ну как можно вас не любить? Это же *музей*, мужской клуб восьмидесятилетней давности. Ну-ка, возразите мне что-нибудь!

– Но... кое-где интерьеры, возможно, несколько старомодны.

– Именно. Но я это так не оставляю, моя дорогая, я его расшевелю. Мой Леандро еще не свыкся с мыслью о женской руке в доме, но я его к этому подведу, вот увидите.

– По-моему, сейчас для этого самое подходящее время. Если Бойд переделывает фасад, то почему бы не обновить интерьер?

– Вот и я привожу тот же довод, Клэр. Тот же самый довод. Могу я задать более личный вопрос? – Это звучит так неожиданно, что Клэр моргает. На полутемной лестнице трудно разглядеть выражение лица Марчи. Она улыбается, но она всегда улыбается.

– Конечно, – произносит Клэр. Она надеется, что это не касается Бойда. *Что он ей наговорил?*

– Мне кажется, вам еще нет и тридцати. Не могу себе представить, что вы можете быть родной матерью этого милого мальчика.

У Клэр отлегло от сердца. Она медленно выдохнула:

– Мне исполнится тридцать в следующем году, и вы правы. Мать Пипа – первая жена Бойда, Эмма. Она была американка, из Нью-Йорка, как вы. Она умерла, когда Пипу было четыре года.

– О, бедное дитя. И бедная Эмма – умирать, зная, что оставляешь такого малыша! Но ему повезло, у него восхитительная и совсем *не* злая мачеха.

– Мы очень близки. Мне было всего девятнадцать, когда я вышла замуж за Бойда... – Клэр умолкла, не зная, стоит ли продолжать. Но глаза Марчи горят неподдельным интересом. – Я была Пипу скорее старшей сестрой, чем матерью. Конечно, он помнит Эмму.

– Отчего она умерла?

Клэр колеблется перед тем, как ответить. Вскоре после знакомства с Бойдом она задала тот же вопрос своим родителям, поскольку они дольше знали его и у них были общие друзья. Ей сказали, что Эмма умерла во время родов, когда они жили в Нью-Йорке, Бойд очень горевал, и потому не следует касаться этой темы. Она приняла это без вопросов и возражений, но через несколько месяцев после свадьбы выяснилось, что Пип помнит мать. Клэр уже не могла совладать с любопытством, и, поскольку расспрашивать маленького ребенка о смерти матери было бы жестоко, она собралась с духом и однажды вечером, когда Бойд пребывал в хорошем настроении, задала вопрос ему. Это так потрясло Бойда, словно он не предполагал, что она вообще может знать о существовании Эммы, а уж тем более интересоваться ее судьбой. Болезненная гримаса на его лице испугала Клэр, она тут же пожалела о сказанном. Она попыталась взять его руку и извиниться, но он отстранил ее, поднялся и вышел за дверь, не сказав ни слова. Но затем остановился, не глядя на нее.

– Это была... лихорадка. Инфекция. Внезапная и катастрофическая. – Он сглотнул, его впалые щеки были бледны. – Я не хочу об этом говорить. Пожалуйста, не заводи больше этого разговора.

В ту ночь он не притронулся к ней в постели, даже во сне не коснулся ни рукой, ни ногой. Клэр кляла свою бесчувственность и дала себе зарок выполнить его просьбу.

Страхивая воспоминания об этой одинокой ночи, исполненной самобичевания, Клэр отвечает Марчи, в точности повторяя слова Бойда.

– Это была... лихорадка. Бойд никогда не говорил об этом со мной, во всяком случае подробно. Это слишком болезненно для него.

– Бедный, могу поклясться, что так оно и есть. Мужчины еще меньше способны справляться с такими вещами, вы не находите? Они должны быть сильными, им нельзя плакать, нельзя искать утешения у друзей, остается лишь закупорить все внутри, и пусть себе загнивает. У Леандро тоже есть секреты, которые он не хочет открывать, – шрамы, которые он не показывает. Может, во мне говорит актриса, но я думаю, надо вытаскивать все наружу. Посмотреть на это при дневном свете, вдруг окажется, что все не так уж плохо. Но он, конечно, не станет. Этот человек просто чертова крепость, когда он того хочет. – Марчи набирает воздуха, словно для того, чтобы продолжить, но останавливается. На ее лице вновь появляется улыбка. – Наверное, наше дело просто быть рядом, если вдруг им захочется поговорить.

– Да. Но вряд ли Бойду когда-нибудь захочется. Не об Эмме. Он... он любил ее слишком сильно. Иногда мне кажется, что он боится вызвать во мне ревность.

– А вы бы стали ревновать? Я – да. Я определенно *очень* ревнива. У меня с этим проще, поскольку и первая, и вторая жена Леандро устроили такой скандал во время развода, что он обеих теперь не выносит. А они, конечно же, ненавидят меня; у него от них трое сыновей, которые тоже умом не блещут. Тут я ничего не могу поделать. Но призрак первой любимой жены – ух! Как бороться с такой соперницей?

Они разворачиваются и неспешно поднимаются по лестнице, плечом к плечу. Клэр медлит с ответом. Она вспоминает эпизод, когда застала Бойда в гардеробной с дамскими шелковыми перчатками в руках. Перчатки были не ее, он медленно и напряженно водил по ним большим пальцем. Лицо Бойда искажала такая страшная мука, что Клэр едва узнала его. Перчатки дрожали в его руках, и когда он увидел ее, то выронил их, будто они жгли как огонь. Его лицо налилось кровью, вены на висках взбухли. Словно она застала его в постели с другой женщиной. Она сказала: «Все в порядке», но он не ответил.

– Я решила, что не стану даже пытаться. Ведь любовь – это не то чувство, которое можно исчерпать. У него хватит любви и на меня, даже если он до сих пор любит ее, – произносит она тихо.

– Это очень мудро и чудесно сказано! Клэр, вы гораздо взрослее, чем я, – говорит Марчи. Клэр молчит в ответ, понимая, что в устах Марчи едва ли это комплимент. – И вы вышли за него в девятнадцать? Так вы были совсем девочкой!

– Полагаю, да.

– А вот мне хотелось пожить, прежде чем остепениться. Хотелось, знаете ли, осмотреться, составить себе мнение о претендентах. Но, возможно, я была диковатой.

– Я выросла в тихой деревенской части Англии. Там было не так много женихов, из которых можно было выбирать. На самом деле первыми познакомились с Бойдом мои родители и решили, что он хорошая партия для меня.

При этих словах глаза Марчи округляются.

– Вы позволили *родителям* выбрать себе мужа?

– Ну, не совсем так...

– Конечно нет, простите, я не хотела вас обидеть. Просто я уехала из дома в тринадцать, в этом все дело. Мне даже не представить подобной опеки.

– Я очень... – Клэр не может подобрать нужного слова. Она была ребенком, а потом сразу вышла замуж за Бойда и стала его женой; она знает себя лишь в этих ипостасях, и в момент перехода она была счастлива – все шло своим чередом.

Она была единственным ребенком в семье и появилась на свет, когда родители уже почти потеряли надежду: ее матери было сорок, а отцу сильно за пятьдесят. Клэр едва исполнилось восемнадцать, когда мать стала не по летам болезненной, тщедушной и день ото дня делалась все более рассеянной. Отца мучили боли в груди, и он пил таблетки – по пять или шесть в день, решительно жуя их каждые несколько часов, – хотя они, кажется, не очень-то облегчали его состояние. Подобно тому как сейчас она наблюдает за взрослением Пипа, так и во время учебы в школе, возвращаясь домой после длительного отсутствия, она ясно видела, как старость и немощь подкрадываются к ее родным. Гораздо острее, чем ее одноклассники, она чувствовала, что может потерять их, остаться в этом мире одна, и пустынные просторы неизвестного будущего пугали ее. Все это делало ее замужество похожим на брак по расчету или же бездумным жестом отчаяния, что было совсем не так.

– Я была рада, что он пришелся по душе им, и они тоже, конечно, были рады, что он мне приглянулся. – Марчи какое-то время молчит, и Клэр понимает, как невыразительно это звучит. – И я полюбила его, конечно. Постепенно я его полюбила.

– Ну разумеется. Он просто ангел. Такой мягкий! Я даже представить себе не могу, чтобы он вышел из себя. Вам, должно быть, все сходит с рук. А мне приходится быть начеку. Если Леандро взрывается, это настоящий вулкан!

– Что ж... я никогда не видела, чтобы Бойд вышел из себя, – говорит Клэр. Вместо этого он молча уходит в какое-нибудь недоступное место, где она не может до него добраться, и тогда мир становится хрупким и ненадежным, и они с Пипом остаются вдвоем, брошенные на произвол судьбы, ожидая, когда он вернется к ним. И вернется ли вообще? С последнего такого случая прошло пять месяцев, и сейчас она снова чувствует, как сгущаются тучи. Можно только надеяться, что она ошибается. – Как вы познакомились с Леандро? – спрашивает Клэр, меняя тему разговора, поскольку на лице Марчи по-прежнему написано недоумение, граничащее с жалостью.

– О, он увидел меня на сцене как-то вечером и влюбился прежде, чем я успела спеть хоть ноту. – Марчи снова улыбается и берет Клэр под руку, пока они поднимаются по лестнице.

Оставшись одна, Клэр тихо стучит к Пипу и открывает дверь. Дверь издает тот же мрачный скрип, что и в ее комнате. Пип сидит на широком подоконнике, глядя в темноту. Небо цвета индиго усыпано звездами.

– Как ты, Пип?

– Хорошо, Клэр. Я пытался выяснить, какие еще созвездия можно увидеть так далеко на юге, но не взял карту и совсем запутался.

Он поворачивается к ней. На нем пижама и зеленый халат, перехваченный поясом. И пижама, и халат уже коротки, и Клэр улыбается. Она подходит к нему и тоже выглядывает в окно. От Пипа пахнет зубной пастой и лавандовыми саше, которые она положила в их вещи.

– Боюсь, Пип, тут я ничем не могу тебе помочь. Ты знаешь, что в астрологии я полный профан.

– В астрономии. Астрология – это гороскопы и все такое прочее.

– Ну вот, это только лишний раз подтверждает мои слова, – говорит она, и Пип улыбается.

– Никакой ты не профан. Просто притворяешься, чтобы я чувствовал себя увереннее, – добавляет он проницательно.

– Ох, по мне, так звезды и звезды, сияют и радуют глаз. Что еще я должна знать о них?

Пип начинает рассказывать ей, сколько времени нужно свету, чтобы достичь Земли, и сколько существует разных видов звезд, какие из этих светящихся точек – планеты, сверкающую булавоочную головку Земли оттуда можно было бы увидеть такой, какой она была годы назад. Потом начинает нести всякую чепуху, как бывает всегда, когда он слишком утомлен. За окном на улице горит несколько фонарей, свет выбивается из-за закрытых ставен. Голосов не слышно, никто не гуляет. Жители Джоя-дель-Колле рано ложатся спать.

Комната Пипа очень похожа на их с Бойдом спальню, но меньше и выходит на запад. Клэр хочет посмотреть, распаковал ли Пип вещи, и выясняет, что, как она и думала, чемодан убран в шкаф нетронутым. Она бросает взгляд на прикроватный столик, заранее зная, что там увидит, – эту вещь он достает всегда, куда бы они ни поехали: фотографию своей матери в серебряной рамке. Это студийный снимок, Эмма стоит у высокой жардиньерки с какими-то экзотическими ползучими растениями, сомкнув перед собой тонкие руки. Фотография сделана в 1905-м, за год до рождения Пипа, на Эмме модное закрытое платье; Пип утверждает, что помнит именно это платье, и говорит, что оно было потрясающего цвета, темно-красное, словно листья плюща в осеннюю пору, но на снимке оно выглядит темным и строгим. Лицо у Эммы серьезное, но не мрачное, тонкий овал со светлыми глазами и облаком вьющихся волос, высоко подобранных и ниспадающих на правое плечо. И хотя лицо ее застыло перед камерой фотографа, Клэр всегда чудится отсвет веселой улыбки на ее губах и в изгибе бровей. Клэр поднимает фотографию и разглядывает ее с интересом, подогретым вопросами Марчи. Это единственная фотография Эммы, которую она видела. Возможно, единственная уцелевшая. Эмма так же застыла во времени, как и дом, где они сейчас находятся. Клэр ясно видит, что Пип похож на мать, и только это сходство заставляет думать об Эмме как о реальном человеке – о женщине, которая смеялась и плакала, сердилась и любила, а не просто была лицом на карточке или призраком, преследующим ее мужа.

Пип оборачивается и смотрит на Клэр. Он не ощущает ни малейшего противоречия между своей привязанностью к Клэр и памятью о матери, и Клэр признательна ему за это. Он никогда не сравнивал ее с Эммой; никогда не бросал ей в сердцах: *«Ты не моя настоящая мать»*. Есть вещи, которые вовсе не нужно озвучивать. Он никогда не обвинял ее в том, что его мать умерла, как могли бы в горе и замешательстве поступить другие дети.

– Интересно, пришелся бы ей по вкусу наш обед? – спрашивает он.

– Наверняка. Особенно жареные цветки цукини – я помню, ты говорил, что она любила пробовать все новое. Они были такими легкими. И нежными. Понравились бы ей мистер и миссис Кардетта, как ты думаешь?

– Думаю, да. – Пип на мгновение умолкает. – Мне кажется, она вообще доброжелательно относилась к людям. А мистер и миссис Кардетта очень гостеприимны, ты не находишь?

– Очень.

Клэр и Пип иногда рассуждают подобным образом, особенно оказываясь в непростых ситуациях, – пытаются угадать, что подумала бы Эмма, что она предпочла бы, как повела бы себя. Это способ удержать в памяти ее живой образ, чтобы у Пипа не пропадало ощущения близости с матерью, хотя на самом деле у него сохранились о ней лишь обрывочные детские воспоминания: цвет платья, длина волос, голос и тепло рук, апельсины, которые она любила, и запах цедры, исходивший от ее пальцев. Иногда Пип таким образом дает Клэр понять, что он думает о тех или иных вещах – трудных вещах, о которых ему не хочется говорить прямо. Иногда он заявляет, что Клэр и Эмма непременно поладили бы и стали бы близкими подругами, и это еще одна великодушная фантазия – что обе женщины могли бы одновременно присутствовать в его жизни.

Какое-то время они смотрят на фотографию молча, затем Клэр ставит ее обратно. Она всегда следит за тем, чтобы на стекле не отпечатались ее пальцы.

– С папой... с папой все нормально? – спрашивает Пип, мучительно стараясь скрыть тревогу.

– Да. Думаю, да, – неуверенно говорит Клэр. Пип кивает, отводя глаза. – Надеюсь, теперь, когда мы рядом, ему будет лучше. Как ты считаешь?

– Наверное.

Пип не сводит глаз с фотографии Эммы. Внезапно Клэр понимает, что он растерян и несчастен в этой незнакомой обстановке, далеко от дома. Она ищет слова, чтобы ободрить его.

– Я понимаю, что наш приезд сюда кажется несколько странным. Наверное... тебе одиноко без друзей, – говорит она. Пип пожимает плечами. – Но мы найдем способ развлечься, обещаю. И могу поспорить, у тебя здесь появятся новые друзья... Выписись хорошенько, завтра отправимся на разведку. А мистер Кардетта снова покатает тебя в той машине, которая тебе так понравилась, – «альфред ромео».

– «Альфа-ромео», – с улыбкой поправляет ее Пип.

– Ну вот, я же говорила, что я полный профан. – Она обнимает его и быстро целует в висок. – Ложись спать, я тоже сейчас лягу.

Бойд по-прежнему беседует с Леандро. Из окна спальни двумя этажами выше Клэр видит дым от трубки, поднимающийся в свете масляных ламп, горящих на столе; она слышит приглушенные голоса, но слов разобрать не может. Несмотря на это, она стоит некоторое время, прислушиваясь, затем прикрывает ставни, стараясь не шуметь, хотя и не знает, с чего это она решила, что должна вести себя как можно тише. Матрас прогибается под ее весом, когда она забирается в постель; простыни имеют характерный затхлый запах лежало-го белья – они чистые, но непроветренные. В комнате тепло и тихо, стоит ей закрыть глаза, как она слышит над ухом писк комара. Затем к нему присоединяются еще двое. Она была не совсем честна с Марчи, потому что у нее все-таки есть повод для ревности: Пип. Не потому, что она хочет быть его матерью, – без Эммы он не был бы собой, – а потому, что сама хочет ребенка; хочет носить его, чувствовать внутри себя зарождение новой жизни; хочет испытать муки родов и счастье материнства. Она хочет быть матерью, а не только мачехой или суррогатной старшей сестрой. Любовь – безгранична. Она будет любить своего ребенка, но не станет от этого меньше любить Пипа. К тому же Пип почти взрослый и скоро покинет ее.

Но Бойд не хочет больше детей. Он боится. И хотя он не облакает своего страха в слова, страх этот сидит где-то глубоко внутри. Всякий раз, когда они занимаются любовью, он пользуется презервативом и выключает свет. Порой Клэр кажется, что между ними никогда не было настоящей физической близости, ведь они не видят, не чувствуют друг друга. Она собиралась снова завести речь о ребенке во время этой поездки, но Бойд и без того на взводе, так что ее терзают сомнения. Она уже замечает скрытые признаки, которые всегда пугали ее, и догадывается, что это как-то связано с Кардеттой, а значит, и с Нью-Йорком. Комариный звон не прекращается, Клэр становится жарко под простыней. Она ощущает покалывание во всем теле. Их совместная поездка в Нью-Йорк была худшим временем в ее жизни, воспоминания об этом походят на странный и болезненный сон. Несмотря на ужасную усталость, ей не спится, и она знает почему. Она ждет. Ждет того, чем все это обернется.

Этторе

Этторе одиннадцать лет. На дворе март, серое небо, сплошь затянутое тучами, кажется, вот-вот разразится дождем, но дождя все нет; небо хмурится день за днем, и ничего не происходит. Крестьяне занимаются прополкой, освобождают от сорняков молодые ростки пшеницы, посеянной в октябре. В марте поля вокруг Джои приобретают особый мягкий зеленый цвет, какой не увидишь в другое время года. Поскольку эта работа не требует большой физической силы, на нее, наряду с мужчинами, нанимают и мальчишек. В те годы, когда сорняков бывает особенно много – например, после дождливой весны, – на поля выходят даже восьми-девятилетние ребята, которым платят сущие гроши. Но и гроши лучше, чем ничего, – мужчинам, которым приходится отрабатывать накопившиеся за зиму карточные долги, остается и того меньше. Это нудный и монотонный труд. Когда спина Этторе устает от работы в наклон, он опускается на колени, как научил его отец. Чтобы дать отдых одной группе мышц, пока напряжена другая. Через некоторое время он встает с колен и вновь гнет спину. Его руки перепачканы, пальцы ободраны и покрыты трещинами от борьбы с жесткими стеблями, которые крепко цепляются корнями за каменистую почву. У каждого мальчишки через плечо надет холщовый мешок, и от того, сколько раз он будет наполнен и опорожнен, зависит, какую плату получит работник в субботу.

У края поля Валерио вместе с другими мужчинами колет камень. Звонкие удары кирки отдаются гулким, словно оружейный выстрел, эхом. Этот звук сопровождает работающих на протяжении всего дня. Они будут слышать его и ночью во сне. Этторе двигается в направлении мужчин, останавливаясь так близко, как только осмеливается. Они колют туф, камень, залегающий по всей местности и то и дело выходящий наружу, словно земля хранит безграничные его запасы. Джоя-дель-Колле вся построена из туфа. Извлеченный на поверхность или отколотый, он имеет мягкий желтоватый цвет, но под воздействием времени и погодных условий становится серым, и капли дождя проделывают в нем отверстия, словно червяки в сыре. Этторе притягивают ракушки. В туфе полно ракушек. Часто это лишь острые обломки, но попадаются и целые, неповрежденные, формой напоминающие веер. Пино смеялся, когда школьный учитель говорил им, что этим ракушкам миллионы лет. Он не мог вообразить ни их древность, ни то, как раковины попали в камень, и потому смеялся. Этторе подобные вещи завораживали, словно видимое, осязаемое волшебство, и он пытался объяснить это товарищу, но внимание Пино было подобно бабочке, которая порхает тут и там, не в силах решить, где ей приземлиться.

Этторе все ближе и ближе подкрадывается к мужчинам, колющим камень. Он бросает вороватый взгляд на зрителя, желая убедиться, что тот за ним не следит. Они работают в массерии Татео, и зрителя зовут Людо Мандзо, во всей Джое его ненавидят и боятся за жестокость, деспотизм и страшную ненависть к *джорнатари*, которую может испытывать лишь тот, кто сам побывал в их шкуре и готов на все, чтобы не оказаться в ней снова. Самое большое наказание для людей – лишиться работы. Они должны работать, чтобы не умереть с голоду, а Людо Мандзо выгоняет батраков за малейшую провинность: за любым промедлением или выражением неудовольствия следует знакомый окрик, звенящий у всех в ушах: «Здесь нет работы для неблагодарных кафони». *Кафони* означает неотесанный мужлан, деревенщина, ничтожество. Иногда их бьют или охаживают кнутом. Но больше всех Людо боятся мальчишки. К ним он особенно придирчив и вовсю дает волю своей злобе. Кажется, что Людо радуется, замечая какой-нибудь проступок, ведь у него появляется повод обрушить на несчастного кару. Наверное, так он разгоняет скуку. Люди шепчутся, что он продал душу дьяволу в обмен на легкую жизнь. День тянется нестерпимо долго для одиннадцатилетнего мальчика, часы кажутся томительно длинными, а минуты и вовсе растяги-

ваются в бесконечность, и Этторе продвигается к недавно расколотому камню, превращая выдергивание сорняков в своего рода игру и высматривая целые раковины, только что явившиеся из земли на свет божий. Если он заметит раковины в камнях, которые может незаметно свистнуть, он заберет их домой для своей коллекции. Раз или два Валерио пытался высвободить для него ракушки из туфа, но они всегда раскалывались.

Вдруг воздух начинает дрожать от дождевых капель. Люди, коловшие камень и занимавшиеся прополкой, останавливаются и поднимают лица к небу. Но за этими несколькими каплями ничего не следует.

– Вам платят не за то, чтобы вы наблюдали за погодой, дурачье, – кричит на них Людо Мандзо.

Все, как один, возвращаются к работе. Все, кроме Этторе. Вот там, всего в нескольких метрах, лежит прекрасный образец. Раковина гребешка размером с его ладонь, повернутая вверх, словно чаша. Омытая каплями дождя, она приобрела тот темный цвет, который, наверное, когда-то имела. Она находится как раз в таком куске туфа, который он мог бы утащить, завернув в кепку. Этторе подбегает к камню и запускает под него пальцы, приподнимая, чтобы определить вес. Едва ли ему удастся пронести такую тяжесть, и он раздумывает, не стоит ли попросить Валерио обрубить камень по краям, но отец не станет заниматься этим под бдительным оком Людо; или же лучше вернуться за раковиной позже, если припрятать ее сейчас; или все-таки взять в надежде на удачу.

– Этторе, что ты делаешь? Ты спятил? – раздается громкий шепот Пино над его ухом.

Этторе в тревоге вскакивает, ударяя макушкой Пино по подбородку, так что оба морщатся.

– Мать Божья, Пино! Не подкрадывайся ты так!

– Я просто не хотел, чтобы Мандзо тебя засек! Что ты делаешь? О... только не ракушка... Она отличная, – признает он, подползая. – Но сколько еще тебе нужно?

– Они мне нравятся, – бормочет Этторе.

Он пожимает плечами, и друг смотрит на него, склонив голову набок, так что под подбородком у него образуется круглая складочка. Вопреки всякой логике, Пино в свои одиннадцать довольно пухленький. Все соседи рады потрепать его по щекам, говоря, что ему повезло с ангелом-хранителем, который, должно быть, кормит его медом во сне. Они лохматят его волосы, если только он не брит из-за вшей, в надежде, что удача перейдет на них и их худых, рахитичных детей.

Пино встает, хватая Этторе за рукав и тянет назад. Они проходят несколько шагов, затем нагибаются и начинают выдергивать чертополох с показным усердием. Этторе оглядывается на камень, стараясь заметить место на будущее.

– Давай же! Этторе, пожалуйста! – умоляет Пино.

Они все боятся Людо Мандзо, но Пино боится его больше других, поскольку Людо ненавидит его лютой ненавистью. То ли за улыбчивость и веселый смех там, где другие едва кривят губы, то ли за круглые щеки и сытый вид, хотя Пино голоден не меньше остальных. А может, за то, что никакая жестокость не способна выбить из парнишки жизнерадостность. Он быстро забывает обиды и вновь начинает улыбаться как ни в чем не бывало.

– Ладно, ладно, идем!

Этторе бросает взгляд в сторону зрителей и видит, что все они внимательно наблюдают за ними. Трое, включая Людо, сидят верхом на поджарых лошадях. Они на дальнем конце поля, и Этторе не может разглядеть выражение лиц, но чувствует на себе их взгляды, и от страха у него слабеют колени. Он съеживается, ему хочется исчезнуть с глаз долой, он хватается за сорняки и принимается выдирать их с лихорадочной скоростью, пихая в холщовый мешок.

– Пино, не поднимай глаз, – шепчет он, и Пино бледнеет. Его глаза расширяются, словно вот-вот вылезут из орбит, рот приоткрывается, Пино начинает работать так, будто от этого зависит его жизнь. Они опускают головы, в надежде, что пронесет. Этторе до боли хочется обернуться, убедиться, что внимание зрителей переключилось на что-нибудь другое, но он не смеет. Затем они слышат приближающийся стук лошадиных копыт, от страха Пино издает едва слышный всхлип.

Лишь когда лошадь приближается настолько, что они рискуют оказаться под копытами, мальчишки поднимаются и отскакивают. Они смотрят в черные глаза Людо Мандзо. У него длинное худое лицо с абсолютно круглыми глазницами, изрытые оспинами впалые щеки. Черная борода походит на спутанную проволоку, от него несет прокисшим вином.

– Вы, мальчишки, думаете, что я слепец или дурак? – по-дружески обращается он к ним. – Ну так слепец или дурак? Говорите, а не то я вышибу из вас ответ.

– Ни то ни другое, синьор Мандзо, – отвечает Пино.

Этторе подозрительно смотрит на него. Пино кажется, что, если он будет вести себя честно, ему ответят тем же. Но Этторе не вступает в разговор с Людо. Никогда.

– У тебя всегда ответ наготове, жирняк? Ну может, тогда ты скажешь мне, почему вы решили, что я не увижу оттуда, как вы бездельничаете, вместо того чтобы работать? Или вы думаете, я буду платить вам за потраченное впустую время?

Теперь в ответ молчат уже оба мальчика. Кирки продолжают колоть камень со злобным стуком. Этторе украдкой бросает взгляд в сторону отца, но голова Валерио опущена. Этторе хочется, чтобы отец узнал о его беде, даже если ничем не сможет ему помочь. Людо скрещивает руки над поводьями, сдвигает назад шляпу и некоторое время задумчиво смотрит на ребят.

– Может, вы забыли, чем должны заниматься? Может, вам трудно сосредоточиться на работе? – наконец произносит он. «Молчи, молчи, молчи», – мысленно просит Этторе, даже когда видит, что Пино делает судорожный вдох и открывает рот.

– Да, синьор, – говорит он.

Этторе пихает его локтем в бок, но слишком поздно. Людо выпрямляется в седле, насмешливо кривя губы:

– Ну что ж, давайте посмотрим, не можем ли мы освежить вашу память.

Другие зрители подъезжают, чтобы поглядеть; один хмыкает и усмехается в предвкушении зрелища, другой хмурится и останавливается, словно намереваясь что-то сказать Людо. Но в итоге дергает поводья и неспешно удаляется на другой конец поля. Этторе надеется, что он вернется.

Вскоре к стуку инструментов добавляется еще один звук: Пино плачет, взвизгивая от боли. Этторе старается не смотреть, он не хочет быть свидетелем унижения друга, но один раз его глаза все же предательски скашиваются. Он видит Пино со спины с голым задом, его штаны болтаются у щиколоток, и он ковыляет между зрителями. Этторе не может точно сказать, что делали с Пино. Пино спотыкается и падает, его щеки пылают от боли и стыда, а Людо хохочет так надсадно, словно пытается прочистить нос, это натужный и беззвучный смех, в котором нет радости.

Этторе оглядывается. Он должен быть свидетелем происходящего – это его наказание. Людо прекрасно разбирается в людях и знает, что для Этторе нет ничего хуже, что вина изложет его изнутри, ведь все началось из-за ракушки, к которой он подбирался. Другие работники на поле стараются не смотреть. Лишь мальчишки порой бросают взгляд; некоторые бледны, другие напуганы, прочие смущены. Этторе отправили работать вместе с группой ребят, которые шикают на него, стоит ему оглянуться на Пино через плечо. Но он смотрит не на Пино, а на Людо Мандзо. Он хочет запомнить лицо Людо – каждую черту, каждую морщину – и то, как тот кривится, когда смеется. Этторе хочет запечатлеть его перед своим

мысленным взором так же ясно, как видит сейчас, потому что, скорее всего, когда он убьет Мандзо, будет темно.

Гнев возвращает Этторе к реальности, воспоминание меркнет; зубы скрипят так, что болит челюсть, воздух с шумом вырывается из ноздрей. Это гнев, который невозможно подавить. В нем такая разрушительная сила, что она обратится против тебя же, если не найдет выхода. Этторе открывает глаза и пытается подняться, готовый броситься на Людо Мандзо с кулаками, рвать его ногтями и зубами, но с удивлением обнаруживает, что он дома один. Комната накреняется и начинает кружиться в медленном водовороте, он садится, охваченный дрожью. Только тут Этторе вспоминает, как поранил серпом ногу, вернее, нога напоминает ему об этом. Боль становится нестерпимой, словно в ногу вонзаются тысячи раскаленных игл, и он сжимает зубы с такой силой, будто это створки стального капкана. Этторе в ужасе опускает глаза, но ничего особенного не видит. Штанина закатана, и запекшаяся кровь покрывает кожу словно корка. Сама рана перевязана тряпкой, в которой он узнает одну из пеленок Якопо. Морщась, он стягивает повязку. Рана – темный зияющий порез, чистый, но глубокий; он видит серо-белую кость и черные сгустки свернувшейся крови. Стоит ему снять повязку, как тут же начинает сочиться свежая кровь, заливая пол. Этторе отупело смотрит на это. Его горло так пересохло, что он не может даже сглотнуть.

Дверь распахивается, и входит Паола с привязанным к спине Якопо. Она теряется, видя его сидящим, и на мгновение на ее лице отражается облегчение. Затем она замечает кровь и бросается к нему:

– Господи помилуй, Этторе, мне только-только удалось остановить кровотечение, и ты первым делом снова пускаешь себе кровь?

Этторе хочет попросить прощения, но голос его не слушается. Паола подтаскивает к нему маленькую табуретку и кладет на нее его ногу. Она снова повязывает тряпку и затем затягивает ее. Этторе задерживает дыхание и кричит от боли, Паола поднимает на него глаза.

– Прости, – говорит она. – Прости, что причиняю тебе боль.

Его кровь сочится у нее между пальцами, он видит, что ее лицо бледно, губы плотно сжаты. Якопо смотрит через ее плечо с загадочным выражением, и Этторе протягивает ему палец. Малыш хватается его ручонкой и открывает рот, готовясь его пососать. Сила, с которой Якопо сжимает палец, заставляет сердце Этторе биться от радости. Бывает, что хватка у малыша совсем слабая, и порой он даже не тянется к пальцу. Сегодня мальчуган спокоен и деловит, его пальчики сжимаются в крепкий кулачок.

– Со мной все будет хорошо. Со мной все будет хорошо, – удастся выговорить Этторе.

– Неужто? – спрашивает Паола. И толкает его обратно на соломенный матрас, затем поднимает раненую ногу и бережно укладывает, затем сердито вытирает руки о тряпку, стараясь не встречаться с ним глазами. На голове у нее, как обычно, шарф, плотно повязанный и стянутый на затылке. Волосы собраны в узел так, что ни один волосок не выбивается наружу. Это делает Паолу строже и старше ее двадцати двух лет; испытания, выпавшие на ее долю после смерти отца Якопо, тоже не прошли бесследно. Она качает головой. – Если ты не сможешь работать – нам конец.

Этторе не припомнить, когда в последний раз слышал в голосе сестры испуг.

Стоит Этторе лечь, как комната вновь начинает вертеться у него перед глазами, и ему приходится сомкнуть веки, чтобы остановить эту круговерть.

– Ну конечно смогу. Как я сюда добрался?

– На спине Пино. Он волок тебя всю дорогу от Валларты.

– Пино – настоящий бык. Я могу вернуться и доработать день. Мне уже гораздо лучше.

– Вернуться сейчас? – Паола вычищает кровь из-под ногтей.

– Пока светло. Еще есть время. Я проработал девять часов или даже больше, перед тем как это случилось, наверное...

– Вчера. Это было вчера, дуралей. С тех пор ты спал. Кто знает, заплатят ли тебе за неполный день... Кровь лилась потоком, когда тебя принесли... Тебе нужен отдых. – Паола не может сдержаться, и в ее голосе проскальзывают нотки возмущения. На самом деле отдых нужен им всем.

– Значит, я потерял целый рабочий день? – говорит Этторе, и его глаза широко открываются. Паола кивает. С тех пор как ему исполнилось десять, он не пропускал ни дня работы, если только она была. Он чувствует себя опустошенным; предателем и одновременно преданным. Снова пытается сесть, но Паола сердито останавливает его:

– Сейчас уже слишком поздно! К тому же ты должен отдохнуть. Луна попытается раздобыть иглу с ниткой, чтобы зашить рану. – Паола разматывает перевязь и ловко перехватывает Якопо, беря его на руки. Она устало улыбается ему, и его личико сияет от удовольствия. – Как это случилось? – спрашивает она.

– Не знаю. Я... я потерял равновесие. Задумался... о чем-то. Наверное, просто оступился.

– Ты что-нибудь ел?

– Немного хлеба, но без вина.

– Жадные сукины дети! – неожиданно рывкает Паола, и глаза Якопо расширяются. Она быстро прижимает его к груди и начинает качать, уперев тревожный взгляд в потолок.

– Паола, пожалуйста, не волнуйся. Я могу работать. Со мной все будет хорошо.

Но Паола лишь качает головой:

– Ты должен пойти к дяде. Попросить какую-нибудь работу полегче, пока не поправишься.

– Не пойду.

Они смотрят друг на друга, и Паола первая отводит взгляд.

В течение нескольких часов Этторе просто лежит, удивленно оглядывая их комнату при дневном свете. Он видит, как солнечный луч, проникнув в единственное окно, медленно скользит по полу. Паола приходит и уходит. Она приносит ему чашку воды, потом чашку *аквасале*, жидкого супа, который готовится из черствого хлеба и соли, во времена изобилия в него добавляли немного оливкового масла или сыра. В супе, который она принесла, плавают моцареллы. Этторе поднимает взгляд на сестру, но не спрашивает о том, где она достала сыр, – Паола все равно не ответит. Мужчина по имени Поэте положил на нее глаз; он работает в маленькой сыроварне в дальнем конце Виа Рома. У него руки как лопаты и будто срезанное, лишенное подбородка лицо, от него вечно несет молоком. Работникам разрешается есть сколько угодно моцареллы, пока они в сыроварне, но выносить ничего нельзя. И новички обедают сыром раз или два, а потом уже смотреть на него не могут. Несколько месяцев назад один мужчина хотел вынести кругляшок моцареллы размером с кулак. Испугавшись, что его застучали, он запихал его в рот целиком и попытался проглотить, но подавился и умер. Поэте готов сделать для Паолы почти все, в надежде на ее благосклонность. Она выбирала его весьма тщательно. Поэте сговорился с одним парнем, который привозит на сыроварню молоко с фермы в тяжелых бидонах, висящих на руле его велосипеда. Так что Паоле регулярно перепадает ворованное молоко для Якопо, поскольку своего у нее не хватает. Ясно, что Поэте нашел способ выносить сыр. Моцарелла великолепна, у нее такой богатый, насыщенный вкус. Этторе корит себя за то, что проглотил все, как волк, не поделившись с сестрой.

Паоле трудно найти работу из-за ребенка и ее репутации. Если в Джое вспыхивают беспорядки, скажем, бьют окна в булочной, где пекарь подмешивает в муку пыль и продает хлеб по завышенной цене, – Паола в первых рядах. Она кричит громче всех, и ей плевать

на власти и на церковь. Когда ей было пятнадцать, разразился скандал из-за священника, который совращал приютских девочек, вверенных его попечению. По слухам, именно Паола бросила факел, от которого загорелся его дом. Крестьянам от церкви мало проку: священники твердят, что засухи и прочие тяготы – наказание за грехи, и втридорога дерут за отпевания, венчания и крещения, хотя им известно, что крестьянам нечем платить. В прошлом году, когда правительство ввело карточную систему, чтобы справиться с послевоенным дефицитом, и женщины ради талонов на муку, масло и фасоль были готовы на все, Паола сумела за себя постоять. Днем один из охочих до женских прелестей чиновников прямо сообщил ей о своих намерениях; она дала отвести себя в укромное местечко и там приставила нож к его глотке, забрав все талоны, которые он ей обещал, и даже сверх того. Она смеялась над этим случаем, говоря, что чиновник постыдится болтать об этом. Но Этторе тревожится за сестру. Ее знают в лицо, и он опасается, что в полиции ее возьмут на заметку и арестуют. Рано или поздно. Она ходит с Якопо за спиной, словно с оберегом, но, когда дойдет до дела, на это никто не посмотрит.

К полудню Этторе встает. Он не может ступить на раненую ногу, и ему приходится прыгать, держась за стены, чтобы не потерять равновесия. От их двери небольшая каменная лестница ведет в маленький дворик, точнее закоулок, который образует узкая улица Вико Иовия, поворачивая под прямым углом. Под их комнатой находится хлев, где спит сосед рядом с мулом и старой козой. Этторе берет палку, на которую на ночь запираются двойные двери, и использует ее как костыль. У Паолы нет воды для стирки, и она по очереди вывешивает вещи на веревку, натянутую на улице, чтобы проветрить их. Мухи облепляют материю, как облепляют все вокруг. Паола идет по улице, прижимая к бедру корзину с соломой – корм для соседской козы, в надежде при случае получить чашку молока. Она уже открывает рот, чтобы разбранить его, но Этторе ее опережает:

– Валерио нашел сегодня работу?

– Не знаю, – отвечает она.

– А вчера – он ведь помогал скотникам? Сколько он получил?

– От него несло овцами, так что, скорее всего, работал. Он пришел затемно, лег спать, ничего мне не сказав. Он... – Паола умолкает, перехватывая корзину. – Он кашляет все сильнее.

– Я знаю. – Этторе ковыляет по направлению к замку.

– Куда ты?

– Проверить, работает ли он, пока я прохлаждаюсь, и не пропивает ли вчерашний заработок.

Как только Этторе сворачивает с Вико Иовии, открывается вид на замок. На его крыше сидят вороны, переругиваясь и поглядывая вниз на городскую толчею. Замок здесь кажется неуместным, даже нелепым сооружением. Опустевший памятник богатству и могуществу; и крестьянам Джои, живущим по десять, двенадцать, пятнадцать человек в комнате, трудно вообразить, что он принадлежит этому миру, а не какой-то волшебной стране. Этторе все сильнее ощущает пульсацию в ноге. Она так громко отдается в его ушах, что ему кажется, будто прохожие тоже должны ее слышать. Нога снова начинает кровоточить, и на мостовой остается след, к которому принохивается пристроившийся за Этторе бездомный пес. Когда он подбирается слишком близко, Этторе грозит ему палкой. У собаки голодный изучающий взгляд. На Виа дель Меркато находится таверна, простецкое заведение с табуретками напротив стойки и большими бочками вина позади. Этторе заглядывает туда и бранится сквозь зубы, когда в дальнем конце помещения видит Валерио. Он сидит ссутулившийся, небритый и играет в *дзеккинетту*⁵ с человеком, вид у которого значительно более довольный.

⁵ *Дзеккинетта* (ландскнехт) – азартная игра в карты.

Этторе ковыляет внутрь и хлопает ладонью по стойке прямо у них перед носом. Никто из мужчин не вздрагивает и не пугается, так что Этторе понимает, что они пьяны. Игральные карты – желтые, с загнутыми углами, кругом липкие темные лужицы пролитого вина, в воздухе – кислая вонь. Валерио поднимает на сына глаза, и Этторе видит, что он совершенно пьян. Потрясение, чувство вины, гнев, возмущение сменяют друг друга на его лице за несколько секунд. Валерио сглатывает, и его лицо делается болезненным и апатичным.

– Ты хочешь мне что-то сказать, мой мальчик? – спрашивает он.

– Вчерашние деньги... От них что-нибудь осталось? – произносит Этторе. Он слышит свой голос, который звучит холодно и жестко, но чувствует лишь одно – желание сдаться и прекратить борьбу; это желание готово завладеть всем его существом, поглотить, словно темный колодец, словно дыра в Каstellане, в которую он ринется, чтобы никогда не возвращаться.

– *Мои* деньги, ты хотел сказать? Мои деньги, сынок?

– Теперь-то, по правде, уже мои, – говорит его товарищ, которого Этторе никогда прежде не видел. Мужчина ухмыляется, скаля редкие черные зубы, и Этторе хочется выбить их из его рта. Он сразу же понимает, что этот человек вовсе не так пьян, как отец.

– Он все тебе проиграл? – спрашивает он.

– Все, кроме того, что залил себе в глотку, – отвечает хозяин, держащий эту лавочку, сколько Этторе себя помнил. – И он еще должен мне двадцать восемь лир с зимы.

Двадцать восемь лир – это хороший месячный заработок летом.

– Почему ты не трудишься? – спрашивает Валерио, бросая взгляд на сына.

– Я поранил ногу. Я буду работать завтра, а... почему ты не работаешь? Что будет сегодня есть Паола, если ты все спустил?

– Не *вини* меня, мальчик! Не суй нос не в свое дело, черт побери! – Валерио стучит кулаком по столу и чуть не валится с табуретки. От крика он заходится кашлем.

– Почему бы тебе не оставить в покое старика. Не так у него много радостей в жизни, чтобы не дать ему выпить и сыграть со старым другом, – подает голос человек с черными зубами.

Старик. Этторе грустно смотрит на отца, ссутулившегося, опустившегося и кашляющего; его волосы седые и сальные, в уголках глаз собрался гной. Он и правда старик. Ему сорок семь. Этторе берет стакан со стола и опустошает его.

– Ты ему не друг. И если я увижу тебя с ним снова, ты об этом очень пожалеешь, – отвечает он.

Ночью, пока Валерио храпит в своей нише, Этторе просыпается, слыша, как зашевелилась Паола. Она может двигаться бесшумно, словно кошка, если этого пожелает, но он спит очень чутко из-за ноги, которая зудит и саднит. Этторе слышит, как она шарит в поисках башмаков, шарфа, ножа и спичек. Этторе хотел бы спросить сестру, куда она собралась, но она не станет отвечать, и он только закусывает губу. Когда она уходит, он протягивает руку и осторожно нащупывает рядом племянника. Он легонько касается груди малыша и чувствует, как она поднимается в такт дыханию. Оно кажется учащенным, но, поскольку Якопо такой маленький, Этторе в этом не уверен. Его щеки слегка шершавые – сыпь или раздражение. Паола не взяла малыша с собой, и Этторе догадывается, куда она могла отправиться.

Лежа без сна в ожидании сестры, Этторе начинает думать о Ливии. Ее отец привез семью в Джою шесть лет назад из деревни на побережье, где они работали на винограднике, пока его не уничтожила тля. Ливия приехала с родителями и двумя братьями, и тут им пришлось столкнуться с ненавистью и негодованием трудового люда Джои. У местных жителей не было ни времени, ни охоты привечать чужаков, приехавших на заработки. Около года они жили на улице, укрываясь то под сводами древних развалин, то в галерее у церкви, то в крытых подъездах богатых и пустующих домов, пока отец Ливии не свел какие-то знаком-

ства в крестьянском союзе и не получил работу, которая позволила им снять комнату. Этторе впервые увидел Ливию, когда ей было восемнадцать, а ему двадцать два.

У нее были волнистые темные волосы – каштановые, а не черные, что очень шло к цвету ее кожи и глаз, создавая единое гармоничное целое, и этому мягкому очарованию нельзя было не поддаться. Ямочка у нее на подбородке сводила его с ума. Обыкновенно она сидела на рыночной площади с корзиной между колен и ножом в руках, снимая кожицу с миндаля, луща горох или фасоль, меля кофе – делая все, что требовалось. Когда работы на фермах бывало мало, в ноябре, январе, феврале, Этторе находил свободную минутку, чтобы прийти повидать ее. Когда она улыбалась, то показывались и нижние зубы, не только верхние, которые отличались необычной формой – клыки и соседние с ними зубы были длиннее, чем резцы, что заставляло ее чуть-чуть шепелявить. Она была далеко не самой красивой лицом или фигурой, не отличалась она и завлекательной походкой. Этторе не мог сказать почему, но для него она была словно ангел небесный, и он не смел приблизиться к ней, словно боясь разочароваться и очнуться от своих мечтаний. Ее лицо в форме сердечка казалось смысленным, глаза сияли, и у нее была привычка, когда она слушала, склонять голову набок, словно птичка – кулик или золотистая ржанка.

В конце концов Пино заставил его подойти и заговорить с ней, хотя Этторе вовсе не хотелось, чтобы во время знакомства рядом с ним маячил его друг – высокий, красивый, обаятельный Пино. Но если бы друг не пихал его локтем в бок, сам он ни за что не решился бы на этот шаг. К тому же оказалось, что Ливия смотрела только на Этторе. Только на него с самого начала. Она не покраснела, не стала ни жеманничать, ни подшучивать над ними. Она поднесла руку к губам и внимательно глянула на него, затем сказала, что его глаза цвета моря напоминают ей о доме, чем сразу озадачила Этторе, поскольку он никогда не видел моря. Он быстро понял, что она всегда говорит лишь то, что думает, и в ней нет ни лукавства, ни расчетливости, чтобы флиртовать или водить за нос. За все то время, пока он присматривался к ней, он ни разу не видел, чтобы она беседовала с мужчиной, и потому решил, что она застеняется, когда он заговорит с ней и откроет свои намерения. Но в конце концов вышло так, что это она первая поцеловала его, с той простотой и прямотой, которых он от нее ждал. Ливия ни разу не дала ему повода усомниться в том, что она ангел небесный. И с первой же беседы она обрела власть над ним и право распоряжаться его жизнью и смертью.

Часа через два возвращается Паола. Слышится тихое ворчание, и что-то тяжелое падает на пол. Она заталкивает свою ношу под кровать, и Этторе чувствует запах крови, идущий уже не от его раны. Паола тихо ложится рядом с ним, и он слышит, как постепенно замедляется ее дыхание. От нее пахнет дымом и гарью. Теперь он уверен, что она участвовала в налете на массерию. Они резали скот, грабили, поджигали, и ее доля спрятана под кроватью – мясо, небольшую часть которого они съедят, а остальное продадут, чтобы купить другие продукты. Лишь одно чувство обурекает Этторе – чувство вины: он виноват в том, что она вынуждена подвергать себя опасности, он виноват в том, что ей пришлось взвалить на свои плечи все заботы. Но он еще и зол на сестру, ведь ее могли убить или арестовать, и что тогда случилось бы с Якопо? Охрана не задумываясь открывает огонь по вора и грабителям, а ведь есть еще и собаки. Люди часто гибнут, пытаясь силой взять то, что не могут купить. Но злость лишь обостряет чувство вины, Паола прекрасно понимает, чем рискует, и, разумеется, никто не тревожится за ребенка больше нее. Тем не менее она идет на это. Этторе лежит в темноте, и его отчаяние растет и терзает его сильнее, чем рана. И когда сестра начинает трясти его за плечо, Этторе, которому так и не удалось уснуть, в ярости отдергивает руку, не обращая внимания на ее раздраженное состояние. Они не говорят ни о ее ночной отлучке, ни о куске мяса под кроватью, ни о запахе дыма, ни о том, что оба выглядят одинаково усталыми и измученными.

На площади Этторе старается не попасться на глаза управляющему из массерии Валларта, знающему о его увечье. Он отбрасывает самодельный костыль и старается стоять как ни в чем не бывало, правда перенеся весь свой вес на здоровую ногу. Его нанимают вместе с группой работников на маленькую ферму. Но без костыля или палки Этторе не может ступить и шагу, и ему тут же дают отворот. Валерио, тоже оставшийся без работы, сидит на ступенях крытого рынка с непроницаемым лицом. Этторе не имеет ни малейшего понятия, что ему делать весь день, чувство безысходности не дает ему пойти домой, лишает покоя. Некоторое время он сидит рядом с отцом, солнце поднимается все выше, его лучи заливают площадь, и становится жарко. Этторе размышляет о том, что главное – дожидаться начала молотбы, тогда он сможет рассчитывать на работу, где нужно стоять, а не двигаться, засыпать снопы в молотилку или орудовать цепом, используя главным образом силу рук. Он ощущает дрожь и ломоту во всем теле. Солнце жарит вовсю, но Этторе начинает бить озноб, в то время как отец покрывается испариной; Этторе кажется, что он слышит свист серпа. Он с силой трясет головой, чтобы избавиться от наваждения.

– Если бы Мария был жива, она бы вылечила твою ногу, – внезапно произносит Валерио. – И мой кашель тоже. – Валерио с благоговением вспоминает о целительских способностях жены несмотря на то, что однажды Марию Тарано постигла неудача. Как-то она сделала припарку соседу, поранившему ногу, рана почернела, кожа вокруг стала жирной и блестящей, и бедолага вскоре умер. После этого Этторе потерял веру в ее магию, в ее непогрешимость. По тому, с какой неохотой она бралась за дело, когда ее просили о помощи, он понял, что и она больше не верит в свои силы. Но за ее услуги люди приносили продукты, так что она продолжала заниматься этим делом. И разумеется, она не сумела исцелить себя, когда заболела холерой одиннадцать лет назад. – Я все еще тоскую по ней, Этторе. Страшно тоскую, – говорит Валерио, и Этторе внезапно понимает, что горе объединяет их, его и отца. Ему делается грустно оттого, что эта мысль до сих пор не приходила ему в голову.

Паола потихоньку продает куски краденого мяса – жилистую баранью лопатку – соседям, знакомым и незнакомым. Крестьяне не болтают о таких вещах, но полиция и помещики иногда подсылают шпионов, которые выслеживают и вынюхивают, кто из крестьян разжился чем-нибудь, что ему иметь не пристало. В течение трех дней у них есть хлеб, и фасоль, и оливковое масло, и даже немного вина, чтобы сдобрить все это. Паола готовит бобы в горшке, называемом *пиньята*, тушит ее в бараньем бульоне, добавляет несколько пригоршней черной пасты и сыра пекорино. Они едят вместе из одного большого блюда, потрескавшегося и скрепленного проволокой (Этторе помнит его столько же, сколько себя), сидя на табуретках вокруг шаткого стола, предмета зависти многих соседей, у которых нет и такой мебели.

– Ты слышал о Капоцци? – спрашивает Паола, пока они едят.

Этторе кивает. Когда он целыми днями работал на полях, она была его глазами и ушами в Джое. Теперь он бывает в городе в дневное время и сам все видит и слышит.

– Что с ним? – интересуется Валерио.

– Его снова арестовали. Зверски избили в придачу, как я слышала. Он пытался убедить людей не уезжать с захваченной общинной земли и не дать сжечь посевы. Он только говорил, но его сочли возмутителем общественного спокойствия. Возмутителем спокойствия!

Все трое разделяют одни и те же взгляды, и Этторе понимает, что Паола ждет их реакции: ярости, гнева, страха.

Никола Капоцци – уроженец Джои, основавший в 1907 году местную ячейку социалистической партии. Крестьяне, устраивающие забастовки и поднимающие бунты, ничего не смыслят в политике, да им и не нужно, они знают, что Капоцци отстаивает их интересы. Он их человек. С тех пор как в Джое появились фашисты, которых сразу поддерживали синьоры и землевладельцы, никто не сомневается, на чью сторону встанет полиция. И никогда не

сомневался. Теперь все ждут вестей о смерти Капоцци. Это назовут убийством по политическим мотивам, и никто пальцем не шевельнет, чтобы его расследовать. Власти охотно закроют на это глаза.

– Будет митинг. Будет забастовка, пока его не освободят. Сегодня я узнаю, когда она начнется, – говорит Паола, глядя брату в глаза. Весь гнев, страх и злость за столом исходят от нее одной. Валерио продолжает есть так, словно ничего не слышит, Этторе, лишившись Ливии, потерял способность сопереживать. Он утратил волю к борьбе.

Благодаря хорошему питанию лихорадка у Этторе почти проходит, и он чувствует себя лучше, хотя еще не вполне здоровым. Но через три дня еда заканчивается, а Валерио кашляет так, что его слышно на площади; и на рассвете Этторе стоит перед управляющим из массажной Валларта прямо, на обеих ногах и объявляет, что готов работать. Порезанная нога пульсирует, словно отбивая барабанную дробь; кость беззвучно взывает к нему. Подходя к группе работников, отправляющихся на ферму, он чувствует на себе взгляд управляющего; он сжимает зубы так, что кажется, челюсть вот-вот треснет, но он не хромает. Прodelав половину пути по пыльной дороге, ведущей из Джои, он чувствует, как из открывшейся вновь раны течет струйка теплой крови. Кровь льется ему в ботинок, который становится скользким внутри. Пино нет рядом, его наняли куда-то в другое место, и Этторе оглядывается в поисках дружественного лица, знакомого, кто мог бы дотащить его до дому, если он не сможет идти. Он видит Джанни, одного из старших братьев Ливии, и старается держаться поближе к нему.

Джанни смотрит на ногу Этторе, но ничего не говорит. Он старше Этторе всего на два года, но выглядит взрослее своих лет. У него суровое, даже мрачное лицо. Если Ливия была золотой ржанкой, то Джанни – коршун, молчаливый и зоркий. Он не замедляет шага, чтобы Этторе было легче поспевать за ним.

– Как твои родные, Джанни? – спрашивает Этторе.

Джанни пожимает плечами:

– Выживают. Мать все тоскует по Ливии.

– И я тоже, – осторожно говорит Этторе. Ему трудно представить себе, чтобы Джанни мог тосковать. Для этого необходима мягкость, необходимо сердце, которое будет ныть и болеть от полученной раны. – Ты ничего не слышал? – Он не может удержаться, чтобы не спросить, хотя знает, что Джанни разыскал бы его, если бы что-то выяснил.

Джанни мотает головой:

– Во время жатвы невозможно подслушать, что болтают надсмотрщики.

– Знаю.

Это проще сделать во время молотбы. А сейчас жнецы разбредаются по полям, тут не поговоришь и не посплетничаешь. Не услышишь, о чем беседуют надсмотрщики или *аннароли* – те, у кого есть постоянная работа в массажных. Другого пути узнать, кто сделал это с Ливией, не существует. Этторе категорически запрещает себе думать о подробностях этого страшного злодеяния – это невыносимо, это свело бы его с ума. Для крестьян нет иного правосудия, кроме личной мести, так было всегда. Этторе сам не раз слышал, как охранники хвастались своими грязными делишками, и он всегда старался запомнить лицо человека, если не мог выяснить его имени, и передавал услышанное тем, кому следовало. Не исключено, что рано или поздно кто-нибудь окажет подобную услугу и ему. Но прошло уже шесть месяцев, и никто и словом не обмолвился об этом случае. О ней. О тех, кто мог напасть на молоденькую девушку, когда та возвращалась в город с охапкой раздобытого хвороста в переднике. К стыду жителей Апулии, насилие по отношению к женам, дочерям и сестрам здесь повсюду. Бесправные мужчины, раздавленные нуждой и отчаянием, вымещают свой гнев на тех, кто еще бесправнее, даже если они ни в чем не повинны, даже если они любимы, даже если мужчина еще больше ненавидит себя после этого. Но все это остается внутри

семьи и никого не касается. Но преднамеренное нападение за пределами дома, да еще такое жестокое, – это касается всех.

– Я все время спрашиваю. Я все время пытаюсь выяснить, – отвечает Джанни, словно оправдываясь перед Этторе.

– Знаю, – повторяет он.

– Когда-нибудь правда откроется. – Джанни смотрит на лежащую перед ним дорогу, его глаза прищурены, хотя солнце только начинает подниматься. В одном не приходится сомневаться: когда они найдут негодяев, те заплатят своей шкурой. Некоторое время они шагают молча, и вскоре Джанни уходит вперед, а Этторе отстает. Он презирует свою слабость.

Мучительный день тянется долго. Слишком поздно Этторе догадывается перевязать штанину шнурком от башмака, пыль и грязь уже успели набиться в рану. Тряпка, которой она была перевязана с самого начала, не менялась и теперь смердит. Он надеется лишь на то, что зловоние исходит от тряпки, а не от самой раны. На этот раз он не жнет, а вяжет снопы; в каком-то смысле это проще – не нужно орудовать тяжелым серпом, не нужно то и дело переносить вес с ноги на ногу. Но зато приходится больше нагибаться, и всякий раз, когда Этторе наклоняется, голова у него идет кругом, подступает тошнота, и он с трудом удерживается на ногах. Когда приходит время обеда, он смотрит на свой кусок хлеба с удивлением: хотя его желудок пуст, есть ему почему-то не хочется. Он кладет хлеб в карман, чтобы забрать с собой, и в три глотка выпивает воду. Мухи так и вьются вокруг него. К полудню его снова начинает знобить, хотя день выдался жарким, и по взглядам, которые бросают на него другие работники, Этторе понимает, что выглядит он неважно. Какой-то незнакомый человек подходит к нему и, похлопав по плечу, говорит, что сегодня ему стоит отдохнуть. Прикосновение заставляет Этторе отшатнуться. В его кожу словно вонзаются иглы и булавки, внутренности начинают вибрировать.

На обратном пути он остается один, поскольку плетется еле-еле и то и дело останавливается передохнуть. Солнце заходит, и небо делается светло-бирюзовым. Его цвет так красив, что Этторе садится на каменную стену у дороги и некоторое время любуется небом, он уже не очень понимает, где он и как сюда попал. Он закатывает штанину и снимает с раны промокшую повязку. Порез стал черным, а кожа вокруг – жирной и блестящей. Глядя на это, Этторе ухмыляется, обнажая зубы, но его усмешка не имеет ничего общего с весельем. Преодолевая боль, он поднимается и бредет дальше, кажется, что скоро совсем стемнеет. Он видит впереди огни и думает, что это, должно быть, Джоя, но никак не может приблизиться к ней. Ноги его больше не слушаются; его охватывает какое-то странное чувство – внезапная утрата чего-то самого простого, словно он вдруг забыл, как дышать.

Он вновь останавливается, чтобы отдохнуть, на этот раз сидя, прислонившись спиной к каменной стене, вытянув перед собой ноги. Он хочет вытянуть их как можно дальше от себя, но зловоние, исходящее от раны, слишком сильное, чтобы можно было от него отделаться, оно напоминает окопы. На фоне серой полосы неба вдали кружат и порхают летучие мыши, зажигаются маленькие звездочки. Этторе смотрит на них и уже не может вспомнить, куда он идет и зачем. Вдруг раздается рев, грохот и треск. Из темноты, слепя фарами, появляется автомобиль, едущий из Джои. Он темно-красного цвета, и за ним в небо поднимается десятиметровый столб бледной пыли. Машина без остановки проносится мимо Этторе, и в этот миг сквозь шум двигателя он ясно слышит переливы высокого женского смеха. Он с удивлением смотрит вслед. У землевладельцев, по их утверждению, нет бензина для тракторов и сельскохозяйственной техники, но по крайней мере у одного богача нашелся смеющийся автомобиль и топливо, чтобы заставить его лететь.

Этторе прислоняется головой к стене. Воздух прохладный, но совершенно неподвижный, дышать трудно, как будто он слишком густой и оседает во рту и горле, словно пыль. Некоторое время Этторе сосредоточен на том, чтобы наполнить легкие этой бесполезной

субстанцией, он понятия не имеет, сколько времени на это уходит – минуты или часы. Затем из темноты появляется фигура и опускается на корточки рядом с ним, Этторе не понимает, что это может значить.

– *Porca puttana!*⁶ Этторе, что это за вонь? Это от тебя? – говорит незнакомец и кладет руку ему на плечо, чтобы поднять его.

Этторе хмурится, пытаюсь сосредоточиться, но мысли разбегаются в разные стороны, словно своенравные коты. Он различает темный силуэт, копну вьющихся волос, которые, кажется, шевелятся, словно змеи.

– Пино? – Его друг представляется великаном, выросшим до огромных размеров. – Почему ты такой большой?

– Что? Паола послала меня разыскать тебя, когда ты не вернулся. Это твоя нога так ужасно пахнет? Ты можешь встать? Давай. – Пино подхватывает его под мышки, кладет руку Этторе себе на шею и поднимает его. Это слишком большое усилие, тело Этторе протестует, его выворачивает наизнанку, рвет, но ничего не выходит наружу. Внезапно Этторе понимает, что, если он сейчас умрет, так и не отомстив за Ливию, ярость будет жечь его вечно, он попадет в свой собственный ад и никогда уже ее не увидит. Какой-нибудь другой счастливый дух повстречает ее на небесах и останется с ней навсегда. С ее смерти Этторе не плакал ни разу, но теперь он плачет.

На некоторое время его сознание словно отключается. Порой ему кажется, что он парит, и это приятно, а порой кажется, что он тонет. Он слышит, как Валерио и Паола спорят о враче, об аптекаре, о том, что предпринять; вроде и Пино стоит тут же, все такой же огромный, и ждет их решения. Этторе не понимает, как могут они разговаривать, когда воздух горячее пламени. Он внутри дома, потом на улице, и вновь в каком-то доме, но в другом. Солнце встает, и свет режет ему глаза. Его несут, это змееголовый великан Пино несет его, обливаясь потом и тяжело дыша. Время от времени над ним парит лицо Паолы, ее черты расплываются, тают: ее глаза – капли мягкого воска, стекающего со свечи-черепа; она пугает его и говорит какую-то бессмыслицу.

Этторе долго несут. Теперь вокруг него стены, места он не узнает. Ему уже лучше, он даже чувствует землю под ногами, вот только ноги его совсем не держат, он даже руку сжать не в силах, чтобы опереться о Пино. Прямо Этторе держится лишь благодаря другу, который одной рукой обхватил его под мышкой, а другой стиснул руку, перекинутую вокруг шеи. Он слышит голоса, их звук сливается в оглушительное крещендо, грохочущее громче летнего грома. Ему кажется, глаза его открыты, но то, что он видит, не может быть реальностью. Он видит мерцающий свет, белую кожу и золотые волосы: ему кажется, что это ангел. Он хмурится, борясь с наваждением, вызвавшим из глубин его памяти далекий образ. Может ли это быть Ливия? Могут ли эти невероятные, болезненные всполохи быть Ливией? Он всматривается все напряженнее, делает усилие. Вспышки – это глаза, и они устремлены на него, кажется, они горят огнем. Он хочет протянуть руку и осязательно проверить, не обманывает ли его зрение, но рука не двигается, он чувствует, как проваливается куда-то, и свет меркнет.

⁶ Грубое итальянское ругательство.

Клэр

Утром Леандро сообщает, что им с Бойдом необходимо обсудить деловые вопросы. У Бойда есть несколько эскизов нового фасада дома, которые он закончил незадолго до приезда Клэр и Пипа, и мужчины исчезают в просторном кабинете Кардетты. В такие минуты пара глубоких складок залегает у Бойда между бровей, и Клэр с сожалением отмечает, что он не умеет скрывать волнение – как это делает она. Он слишком многое выставляет напоказ. Закрывая дверь, Леандро бросает на нее доверительный взгляд, но она не знает, как это расценить. Клэр опасается, что Леандро не принимает в расчет душевный склад Бойда. Не понимает, насколько тот раним.

– О, не волнуйтесь, – говорит Марчи, когда Клэр отводит взгляд от двери кабинета. – Леандро – просто душка, в самом деле. И я уверена, ему очень нравится стиль Бойда. Вы бы слышали, как он восторгался тем зданием в Нью-Йорке, которое построил ваш муж.

– Правда?

Тем самым зданием, которое Бойд проектировал в полубезумном состоянии. Клэр даже на фотографию не может смотреть без того, чтобы ее не охватывал ужас.

– Конечно! Он восхищен талантом вашего мужа. Ведь он мог бы нанять любого архитектора, чтобы проектировать этот фасад. Но он выбрал Бойда, другие кандидатуры даже не рассматривались, насколько мне известно. В этом весь Леандро. Он знает, чего хочет. Ну а сейчас как вы смотрите на то, чтобы мы все – я, вы и Пип – отправились на небольшую прогулку?

К тому времени, когда Марчи наконец выбрала наряд и подходящие к нему туфли для выхода, солнце стояло уже довольно высоко.

– Кто бы мог подумать, что одежда, купленная в Нью-Йорке, так мало годится для Италии? – произносит она, когда они выходят из дома и направляются на Виа Гарибальди. – И что здесь негде – я имею в виду, абсолютно негде, – что-нибудь купить. – Ее наряд не очень отличается от того, в котором она вышла к завтраку, – салатный, цвета весенней зелени, и высокие ботинки, охватывающие лодыжку. – Готовы, мистер Пип? Вы будете защищать нас от диких итальянцев.

– Вы всегда жили в Нью-Йорке, до того как переехали сюда, миссис Кардетта? – интересуется Пип.

– Марчи – прошу тебя! Да, я там родилась и выросла. И я очень люблю Нью-Йорк. Но я ухватилась за шанс поехать в Италию. Я, конечно, думала, что Леандро привезет меня в Рим, или в Милан, или в Венецию. Знаете, как он все это представил, – Бойд вам рассказывал? Он заявил, что хочет вернуться домой, в Италию, но он не поедет, если я не выйду за него замуж и не соглашусь отправиться с ним. Он сказал, что я его недостающая половина, – вы когда-нибудь слышали что-нибудь более заманчивое?

– Звучит очень романтично, – соглашается Клэр.

– О, ужасно романтично. Кто тут устоит? С другой стороны, мне всегда делали предложения, перед которыми трудно устоять, – говорит она. Мужчина с заячьей губой, который вез их со станции, открывает дверь на улицу, залитую светом. С подчеркнутой почтительностью кивая Марчи, он все так же, как и раньше, поглядывает на Клэр. – Спасибо, Федерико. Ух, сегодня будет жаркий денек.

– Вам делали предложения и до этого? – спрашивает Клэр.

– О, дважды или трижды. – Марчи машет рукой и умолкает, стоя на мостовой и оглядываясь, словно не может решить, в какую сторону им двинуться. – Я же говорила, что была диковатой, но мне всегда удавалось вовремя улизнуть!

– Мистер Кардетта говорил, что здесь есть замок, – с воодушевлением произносит Пип.

– Тебе хотелось бы на него взглянуть? Это уродливая старая развалина. Ну что ж, если вам так хочется, следуйте за мной. Но должна вас предупредить, он стоит в центре старой части города. Там живут крестьяне, и, честно говоря, зрелище это не из приятных.

Узкие поля шляпки не защищают лицо Клэр от солнца, и свет бьет прямо в глаза. Она чувствует, как ей печет шею, и вскоре начинает покрываться испариной. На улицах царит странная тишина, на которую она обратила внимание еще раньше, никакой суматохи южного города; в этот час людей больше, но все разговаривают вполголоса и, кажется, никуда не спешат. Некоторые мужчины стоят, подпирая стены или дверные косяки, другие выглядывают из дверей таверн, где они выпивают, несмотря на ранний час. Марчи, Клэр и Пип идут медленно – из-за жары и необходимости внимательно смотреть под ноги, чтобы не вступить в навозную кучу. Небо такое яркое, что можно лишь быстрым взглядом окинуть фасады зданий, поскольку свет начинает резать глаза.

– До замка можно было бы добраться и быстрее, но мы идем долгой дорогой, потому что сначала я хочу показать вам Пьяцца Плебишито, – говорит Марчи, когда они оказываются на обширной площади, которая окружена симметричными фасадами с закрытыми ставнями, и Клэр догадывается, что это постройки восемнадцатого и девятнадцатого веков. На площадь выходят и ряды балконов, все, как один, с ажурными решетками; есть там и приземистое здание крытого рынка, откуда доносится запах гниющих овощей; восьмиугольные подмостки, живописно раскоряченная средневековая церковь, примостившаяся рядом с высокой колокольной, и круглые фонари, висящие на элегантных витых столбах. Марчи рассказывает обо всем, что они видят. – Это старинный бенедиктинский монастырь. Не правда ли, он чудесный? Вот сюда каждое утро приходят мужчины, чтобы наняться на работу. Это место, где бурлит жизнь, – здесь проходят процессии, политические митинги и все такое. Мы еще должны, разумеется, зайти в Кьеза Мадре.

На Пьяцца Плебишито тоже есть мужчины, которые ничем не заняты: они стоят, сутулившись, с мрачными лицами, курят, иногда перекидываются парой слов. У них терпеливый, остановившийся взгляд людей, которым некуда идти и нечем заняться. Многие из них поворачивают головы и провожают взглядом двух светловолосых женщин с их робким спутником, чьи наряды так отличаются от черных одеяний жительниц Джои. Мужчины тоже одеты в черное, коричневое или темно-серое, почти у всех черные, непроницаемые глаза. Они смотрят на мир с прищуром, сквозь завесу табачного дыма, и под их испытующим взором у Клэр словно почва из-под ног уходит и она теряет связь с реальностью. Она здесь не гостья, а просто случайная диковинка. Словно капля воды на воощенной ткани, она может лишь кататься по поверхности, но ей никогда не проникнуть внутрь. И стряхнуть ее легко, так что не останется и следа. Ничего общего с другими местами в Италии, где она бывала, где иностранцы совершенно обыкновенное явление. Ей то и дело хочется обернуться, и она действительно несколько раз оборачивается. Улицы Джои замерли в ожидании, словно затаив дыхание; весь город будто ищет возможности выдохнуть, и выдох этот может вырваться вместе с грозным рычанием. Клэр вспоминается быстрый взгляд, которым обменялись Леандро и Марчи, когда она первый раз предложила пойти на прогулку. Клэр косится на Пипа, но он рассеянно смотрит по сторонам, обхватив руками плечи.

Только на Виа Рома, куда они направились, чтобы осмотреть просторное палаццо одной знатной семьи, носящей фамилию Казано, им стали встречаться лучше одетые люди, явно принадлежащие к более высокому классу, идущие с какой-то целью, а не слоняющиеся без дела. Марчи улыбается и приветствует их, но в ответ получает лишь сдержанные кивки. Ее улыбка меркнет, но Марчи не сдается. Из чувства солидарности Клэр подходит к ней ближе.

– Должно быть, непросто завести друзей в новом месте, да еще не зная языка, – сочувственно произносит Клэр.

Марчи с благодарностью берет ее под руку.

– Знаете, они зовут меня американской шлюхой, – говорит она, понижая голос, чтобы не услышал Пип. Но он слышит – Клэр замечает, как он смущается и отводит взгляд, словно водосточный желоб на другой стороне улицы и ожидающие около него женщины приковали его внимание.

– Маленькие города порождают маленькие умишки.

– Воистину так. Знаете, почти никто из местных землевладельцев не желает тут жить. Никто из знатных семейств – правда, есть тут один граф, у которого большой дворец за городом. Все нанимают управляющих, чтобы присматривать за поместьями, а сами отправляются в Неаполь, Рим, Париж. Всякий, у кого есть деньги, чтобы уехать отсюда, не преминет это сделать. Разумеется, кроме моего Леандро. Поэтому те, кто здесь остаются, – это кучка заносчивых неудачников, которые всячески пестуют свою манию величия. – Марчи по-прежнему улыбается, но даже она не может сдержать досады и злости.

– Мне никогда не доводилось слышать о Джоя-дель-Колле, пока Бойд не позвонил и не сказал, куда мы отправляемся, – говорит Клэр.

– *Никто* не слышал о Джоя-дель-Колле, моя милочка. Всего через несколько дней вы поймете почему.

Чтобы попасть к замку, они сворачивают на неширокую улицу, пересекающую старый город ровно посередине. И здесь встречаются большие дома, но они выглядят более запущенными и менее модными, чем те, что стоят на улицах, окружающих старую часть. Окна покрыты слоем грязи, пристроенные лестницы ведут вверх и вниз к деревянным дверям, щербатым и местами прогнившим. Сточные канавки забиты мусором и грязью, в воздухе стоит запах отбросов и нечистот, и им приходится еще внимательнее смотреть, куда поставить ногу. Клэр становится ясно, что современные улицы окружают и словно заслоняют собой гораздо более убогий и бедный центр.

– Пахнет так, словно канализация засорилась, – говорит Пип.

– Канализация? Пип, здесь нет никакой канализации, – отвечает Марчи.

– О... – Пип морщится, явно жалея, что заговорил об этом. – А люди от этого не болеют?

– Конечно болеют. Временами тут вспыхивает холера. Но у нас в доме вы в безопасности, все продукты доставляются из массерии, а воду мы покупаем, в ее чистоте можно не сомневаться. Вот слева стоит дом, который построил Наполеон для своего младшего брата, когда тот был здесь по службе. А если вы поднимете глаза, то увидите замок.

Клэр и Пип послушно поднимают взгляд и видят три высокие квадратные башни с плоскими крышами, четвертая, вероятно, была разрушена. Стены – грандиозные, вертикально уходящие ввысь, несокрушимые; кое-где их пререзают маленькие окна и бойницы.

– Можно попасть внутрь? – спрашивает Пип. Громадная дверь выглядит так, словно ее не открывали лет десять. – Кому он принадлежит?

– О, наверное, какому-нибудь знатному старому маркизу, – говорит Марчи, произвольно взмахнув рукой. – Никогда не видела, чтобы он был открыт. Но зато там обитает привидение. Ты веришь в привидения?

– Не знаю. Наверное, нет, – отвечает Пип, но Клэр замечает, что он заинтересовался. – Чей же это призрак?

– Молодой особы, которую звали Бьянка Ланция. Она была одной из жен короля, который выстроил этот замок сотни лет назад, – самая красивая из его жен, – и он запер ее в каком-то из этих донжонов, когда до него дошли слухи о ее неверности. И знаете, что она сделала, чтобы доказать свою любовь к нему?

– Сбросилась с укреплений?

– Близко. Она отрезала свои... В общем, важную часть женского тела. Обе.

– И что, король вновь ее полюбил?

– Да что ты! После того, как она отрезала то, что наверняка нравилось ему больше всего? Ну, он кинулся к ней, чтобы помириться, но она умерла. Так что смысла ее поступка я никогда не могла понять.

– Ну, она восстановила свое доброе имя, – произносит Пип с чувством.

– Доброе имя трупу ни к чему, – неожиданно резко отвечает Марчи. – Глупая девчонка, вот что я всегда думаю, когда слышу эту историю. Надо было найти другой выход. Или другого мужа.

– А может, она действительно была неверна и решила себя наказать?

– Тогда еще глупее.

Клэр хочет отвлечь их от этой щекотливой темы, но внезапно, стоя под стенами замка, она теряет ясность мыслей, на нее накатывают смятение и паника. Она поднимает глаза на крепость, пытаясь понять, откуда исходит опасность, – старинные стены словно грозят обрушиться; она вновь оглядывается через плечо и затем поворачивается на каблуках, но никого поблизости нет. Затем из переулка напротив замка показывается человек, который куда-то спешит, и их взгляды встречаются. Мужчина хромот, опираясь вместо костыля на деревянную палку, но это просто палка, без перекладины или ручки для опоры, поэтому ему приходится неловко изгибаться, чтобы держать палку обеими руками. Он направляется на юг так быстро, как только может, не глядя ни вправо, ни влево, а только прямо. Он худой, темноволосяй, зубы его крепко сжаты, это заметно по бугоркам, вздувшимся на челюсти. Бродячая собака бежит через улицу, затем опускает голову, принохивается и поворачивает, чтобы следовать за ним, и в ее повадке Клэр видится что-то угрожающее, так что она даже порывается предостеречь хромающего человека. Он продолжает двигаться по улице и исчезает из виду за повозкой, груженной искореженным металлом и мотками ржавой проволоки.

– Что там, Клэр? Кого ты там увидела? – спрашивает Пип.

– Никого, – отвечает она.

Солнце близится к зениту. Ни на улице, ни под стенами замка нет тени. Внезапно на нее накатывает тоска по Лондону, по тихой улочке, на которой они живут, по запаху свежей зелени в воздухе и полной предсказуемости всего, что происходит.

– Что ж, идем обратно? Не знаю, как вам, а мне нужно сесть и чего-нибудь выпить, – говорит Марчи.

Все они кажутся снижшими; такую опустошенность ощущаешь тогда, когда отправляешься на поиски приключений, а сталкиваешься лишь с такими прозаическими вещами, как вспотевшие ноги, жажда и неприятное чувство, что тебе здесь не рады.

Когда они подходят к дому, Федерико открывает им дверь, и Клэр невольно отводит глаза, чтобы не встречаться с ним взглядом. Ее беспокоит, что он может подумать, будто она не желает смотреть на него из-за уродства, тогда как причина в его испытующем, вопросительном взгляде; какой бы вопрос его ни интересовал, Клэр отвечать не собирается. У него такое выражение, словно он стремится что-то выведать, и это вызывает недоверие. Когда они оказываются во дворе, Леандро окликает их с одной из террас на верхнем этаже:

– Присоединяйтесь скорее! Мы собираемся выпить перед обедом.

– О, прекрасно! Мы умираем от жажды, – говорит Марчи.

Леандро и Бойд сидят в плетеных креслах за низким столиком. Над двором сверкает квадрат лазурного неба, но терраса укрыта в тени. Бойд тянется к руке Клэр, когда она садится рядом, и пожимает ее. Его улыбка кажется искренней, и она успокаивается.

– Ну и как вам понравилась Джоя? – спрашивает Леандро. На нем костюм песочного цвета с фиолетовым шелковым галстуком – не то джентльмен из колоний, не то денди; он откидывается на спинку кресла и улыбается – сама непринужденность.

– Мы видели несколько действительно красивых зданий, – говорит Клэр. Она хочет сказать что-нибудь еще, но ничего не может придумать. Повисает пауза. Марчи смотрит на нее испуганно. – Очаровательный город, – произносит Клэр, но голос ее звучит тихо и неубедительно. Она не любит врать и предпочитает отмалчиваться. Леандро улыбается снова и отводит взгляд. Клэр понимает, что задела его. Она не смеет поднять глаз на Бойда. – Скажите, почему люди носят черное? Мне кажется, им должно быть ужасно жарко, – говорит она.

– Вы имеете в виду крестьян? – уточняет Марчи. – Наверное, на черном грязь не так заметна. По-моему, они не очень-то любят утруждать себя стиркой.

– Марчи, – останавливает ее Леандро с мягким укором, но взгляд его делается суровым, – у них нелегкая жизнь. Эти люди бедны, им не хватает еды, они не могут позволить себе оплатить услуги врача. Их дети часто вырастают больными. А сейчас, когда война только закончилась... они носят черный в знак траура, миссис Кингсли. Большинство из них потеряли близких.

– Понятно, – говорит Клэр, чувствуя замешательство Марчи и стараясь не смотреть на нее.

После обеда Леандро с Пипом спускаются во двор, с ревом и кашлем в ворота въезжает еще один автомобиль. Леандро стоит в вальяжной позе, засунув одну руку в карман и слегка сутулясь. Он наблюдает за Пипом, и Клэр видит, что реакция юноши доставляет ему удовольствие – как Пип просит разрешения посмотреть двигатель, проводит ладонью по кожаному сиденью, отступает назад и, склонив голову набок, любуется пропорциями машины.

– Тебе хотелось бы сесть за руль, Филипп? – спрашивает Леандро. Лицо Пипа озаряется недоверчивой радостью, и Леандро смеется. – Эта улыбка значит «да»?

– Не опасно ли это? Он еще недостаточно взрослый, – говорит Бойд.

– Это несколько не опасно. Мы поедem за город, где врезаться не во что, и там он сможет попробовать. Ну что, парень, доволен?

– Очень!

– Ну так едем. Но – мягко, для начала. Если ты врежешься в какое-нибудь дерево или стену, я с тебя три шкуры сдеру за причиненный ущерб.

– Я не врежусь, – радостно обещает Пип. Он машет им, забираясь в машину, и Клэр поражена, с какой легкостью отметаются доводы Бойда, его разрешения вовсе не требуются. Когда машина трогается, щеки Бойда багровеют от негодования.

В тишине, наступившей после рева двигателя, раздается скрип и стук ворот, которые за ними закрывает и запирает Федерико. Клэр спешит повернуться к нему спиной, прежде чем он закончит возиться с замком, и вместе с Бойдом направляется на веранду. Там стоит небольшой диван, и Бойд садится рядом с ней так, чтобы их плечи, бедра и ноги соприкасались, несмотря на жару.

– Мистеру Кардетте понравился твой проект? – спрашивает Клэр.

Бойд улыбается, и недавнее напряжение рассеивается. Он кладет локоть на спинку и перебирает пальцами волосы на ее виске.

– Да. Думаю, да. Он хочет чего-то более... Я не совсем уверен, чего именно. Он рассказал мне длинную историю о заброшенном замке неподалеку отсюда...

– О том, что в центре города?

– Нет, о другом, он называется Кастелло-дель-Монте. Но его построил тот же человек. У этого замка восемь восьмигранных башен вокруг восьмиугольного двора. Там нет ни кухонь, ни конюшен, никаких функциональных помещений... И тем не менее он явно был спроектирован с большим тщанием, сделан из дорогого и редкого камня. Он стоит высоко на холме, и в ясную погоду его видно за многие мили. Но нет никаких признаков того, что когда-либо там кто-то жил.

– Это безумие.

– Это загадка. Именно то, чего он хочет.

– Ему нужны восьмигранные башни, которые будут видны за мили вокруг? – спрашивает Клэр в шутку, но Бойд едва улыбается в ответ. Он погружается в размышления, его мысли вновь возвращаются к поставленной задаче.

– Он хочет символизма. Он хочет, чтобы люди смотрели на его творение и удивлялись.

– Но для чего? Разве недостаточно следовать моде и продемонстрировать свое богатство?

– Ему хочется чего-то такого, что заставит крепко задуматься жителей города, которые полагают, что им все о нем известно. – Бойд качает головой.

– Чтобы показать, что он не такой, как они, и не боится этого?

– Думаю, да.

– А ты можешь это сделать? Можешь создать для него загадку?

– Будем надеяться, – говорит Бойд и целует ее в висок. – О, мы тут надолго застряли. – Бойд улыбается, и Клэр тихо смеется, но оба они прекрасно понимают, что в этих словах лишь доля шутки. Просто невозможно отказать Леандро Кардетте в чем бы то ни было.

Некоторое время они сидят так, и единственный звук, который доносится до них, – это скрип колес проезжающих время от времени повозок и стук лошадиных копыт. Он кладет руку ей на колено, затем ведет выше к бедру, касаясь мизинцем ее промежности. Другой рукой он притягивает ее голову и целует в шею. В таком положении говорить неудобно, но, когда Клэр пытается поднять голову, он удерживает ее, положив свою руку ей на лоб, так что ее шея беззащитно выгибается, словно подставленная для жертвоприношения. Вдруг Клэр становится нехорошо, и она закрывает глаза, чтобы справиться с подступающей дурнотой.

– Дорогой, – произносит она наконец. – Не здесь. Кто-нибудь увидит.

– Никто не увидит. Вся прислуга отдыхает, как и Марчи.

Его голос звучит глухо, рука, лежащая на ее бедре, сжимается крепче. Такая пылкость в дневное время для него совсем не характерна, и ей хочется знать, чем это вызвано. Уголкем глаза она замечает движение внизу, во дворе около ворот. Она вскакивает в мгновение ока.

– Тот слуга, водитель, он следит за нами! – восклицает она с жаром и тут же меняет тон, видя, как поник Бойд. – Правда, здесь невозможно уединиться.

– Возможно. Но если хочешь, пойдем внутрь, – говорит он, вставая. – Ты кого имеешь в виду – того парня с заячьей губой? – Бойд берет ее за руку, оглядывая через плечо пустой двор. – Ты уверена?

– Да. Он мне не нравится. Он... – Но она не может сказать, в чем именно дело. Однако при мысли о том, что он смотрит на них, ей становится дурно. Бойд обнимает ее за талию и притягивает ближе к себе. – Прости, дорогой, я как-то не настроена, – спешно говорит она.

– Но прошло так много времени, Клэр. – (При их разнице в росте трудно идти, тесно прижавшись друг к другу, то и дело сбивается шаг.) – Неужели ты совсем не соскучилась?

– Конечно соскучилась.

– Так в чем же тогда дело?

Клэр улыбается, встряхивает головой, но внутренне презирает себя за эту готовность сдаться.

Стеклянные двери веранды ведут в библиотеку с большим темным письменным столом в центре, за которым работает Бойд. Его карандаши и ручки педантично разложены по коробкам. Клэр подходит и перебирает их, гладит жесткую кожу столешницы. Иногда она так делает – притрагивается к разным предметам, пробуждая свою чувственность, перед тем как заняться сексом. Бойд обнимает ее сзади, целует, крепко прижимается к ней. Она хочет откликнуться на его порыв, а вместо этого думает о том, как странно, что сейчас день и что они не заперлись как обычно, в каком-нибудь темном помещении. Но когда его пальцы

погружаются в ее промежность, а его язык оказывается у нее во рту и он расстегивает ей блузку, высвобождая из бюстгалтера соски, она подается к нему и прикидается к его плечам, охваченная волнением и желанием. Такой способ заниматься любовью ей непривычен. Возможно, именно такое соитие – спонтанное и нетерпеливое – даст начало новой жизни, и через многие годы, когда малыш станет озорничать, они нежно улыбнутся друг другу и скажут в шутку, что ребенок не может быть тихоней, ведь он был зачат в таком бурном порыве страсти. Но Бойд внезапно останавливается на пике эрекции. Он вздрагивает меж ее бедер, закатывает глаза и тяжело дышит.

– Подожди здесь, – говорит он, застегивая брюки, и выходит из комнаты.

Клэр остается стоять, вымазанная его слюной, холодящей кожу, наедине со своим угасающим возбуждением. Она скрещивает на груди руки и слушает, как замедляется ее пульс. Он отправляется за презервативом, и когда возвращается, то заканчивает акт, отгородившись от нее резинкой. Клэр, у которой угасли последние искры желания, замечает, что у него поредели волосы, и что столешница больно врезается ей в ягодицы, и что глаза у него все время плотно закрыты. Он кончает беззвучно, она узнает об этом лишь потому, что он задерживает дыхание на три или четыре удара ее сердца. В отличие от его учащенного пульса, ее сердце бьется медленно.

Затем Бойд настаивает, чтобы они пошли отдохнуть в спальню, хотя Клэр хочет одеться и посидеть где-нибудь в тени на свежем воздухе. Водой из кувшина он смывает в раковину содержимое презерватива. Клэр противно на это смотреть. Однажды она даже подумывала о саботаже – она вертела презерватив в руках, оценивая его на прочность и прикидывая, как просто было бы проделать в нем с помощью булавки или брошки несколько дырочек. Но она понимает, что это нечестно. Если она хочет победить, если хочет избавиться от этой ненавистной резинки, она должна сделать это открыто, убедив мужа. Однако у нее остается все меньше и меньше пыла для борьбы – постепенно ненависть сменяется вялой неприязнью и унылой покорностью. Эти изменения, произошедшие в ней, не остаются незамеченными и тревожат Клэр. Пока она еще не готова сдаться. Она представляет предстоящую жизнь с Бойдом, когда он отойдет от дел и перестанет ежедневно ходить в контору; когда Пип уедет из дома и будет звонить от случая к случаю, если вспомнит. Она представляет медленный ход времени и ужасный груз тяготеющего над ней одиночества. Все эти мысли, слившиеся воедино, побуждают ее вернуться к разговору.

Повесив презерватив сохнуть на вешалке рядом с льняным полотенцем, Бойд ложится рядом, обнимая ее сзади.

– Как тебе понравилась Джоя? Только честно, – спрашивает Бойд.

– Она меня пугает, – отвечает Клэр. – У меня такое ощущение, что нам тут не место. Этот город не для туристов.

– Мы не туристы.

– А кто же мы тогда? – спрашивает она, но он не отвечает. – Марчи ненавидит Джою, – добавляет она.

– Ты так думаешь?

– Я в этом уверена. Бойд, – начинает она осторожно, – неужели у нас никогда не будет ребенка? Я так хочу ребенка.

– Но ведь у нас есть Пип.

– Да, но... это не совсем одно и то же. Для меня. Ведь я Пипу не мать.

– Ты заменила ему мать. Ты его воспитала. – Он целует ее волосы. – И справилась с этим превосходно.

– Бойд, ты знаешь, о чем я прошу. – Она делает глубокий вдох, чтобы совладать с нервами. – Почему ты не хочешь, чтобы у нас был ребенок?

– Но, дорогая, ведь мы уже закрыли эту тему.

– Нет же, нет. Ты говорил, что боишься, но чего бояться? Я все ждала и ждала... Я думала, что со временем ты будешь готов. Но ведь прошло десять лет, Бойд. Мне почти тридцать... У меня осталось не так много времени. Ты ведь не можешь до сих пор бояться?

– Клэр, дорогая... – Он умолкает; она ждет.

– У Эммы... были тяжелые роды? Неужели она... так и не оправилась после этого?

– Нет. – Его голос звучит сипло от напряжения. – После этого она уже никогда не была прежней. Ничего уже не было прежним. Я... я начал терять ее в тот самый день, когда Филипп появился на свет. Я не могу потерять и тебя, я этого не вынесу.

– Со мной все будет хорошо. Я знаю. И я...

– Нет, Клэр, – произносит он, и теперь в его голосе звучит металл. – Нет, я просто не могу этого допустить.

– Ты не можешь этого *допустить*? – в отчаянии повторяет она. Но Бойд больше ничего не говорит.

Сквозь закрытые ставни Клэр смотрит на полосы раскаленного неба, и ей кажется неправильным изгонять из помещения дневной свет. Внезапный приступ клаустрофобии гонит ее на улицу, несмотря на жару и палящее солнце; ей чудится, что в комнате не осталось воздуха. Ей жарко в объятиях Бойда, пот пятнает ее блузку у поясницы, его дыхание горячит ей шею. Она потихоньку отстраняется, осторожно перемещая голову на подушке, но Бойд лишь крепче удерживает ее.

– Я решила пойти прогуляться. Ненадолго, – говорит она.

– Прогуляться? Сейчас? Не глупи – сейчас самое пекло. Это невозможно.

– Но мне не хочется лежать.

– Ерунда. Тебе нужно отдохнуть. – Он целует ее волосы, тянет прядь, прилипшую к губам. – Почему ты вышла за меня, Клэр? – спрашивает он.

Этот вопрос она слышала сотни раз, и ей так не хочется отвечать на него. За ним кроется презрение к себе, превращающее вопрос в осуждение. Она знает, какого ответа он ждет, и торопливо произносит положенные слова, поскольку молчание здесь не поможет:

– Потому что полюбила тебя. Полюбила сразу.

Возможно, это лишь наполовину ложь. Она и правда влюбилась в него, он был старше, высокий, красивый, окруженный аурой печали. Ей так захотелось облегчить его боль, вызвать улыбку, вернуть ему радость жизни. Ее родители представили их друг другу во время дневного чаепития в саду их скромного дома в Кенте. Это был один из тех благословенных июньских дней, когда пчелы гудят в живых изгородях и вокруг порхают белые бабочки. Ее заранее предупредили о постигшем его горе, о несчастье с Эммой. Словно это единственное, что было достойно упоминания. Клэр увидела в нем человека, у которого за плечами долгая жизнь, богатый и глубокий опыт, человека, на которого можно положиться и которому можно довериться. Залогом этого был его возраст. Он показался ей добрым и грустным, и ей захотелось сделать его счастливым. Горе было доказательством его чувствительности, и она мечтала исцелить разбитое сердце. Бойд не отличался экспансивностью, но в ее семье не было принято открыто проявлять чувства, и Клэр очаровала его сдержанная печаль и нежность, с которой он смотрел на нее. Отец сказал Клэр, что Бойд хочет жениться вторично на молодой женщине, не знавшей горя и не израненной жизнью. Чистой душой и телом, чтобы начать жизнь заново.

Она не знала о существовании Пипа до того момента, как приняла предложение Бойда. Поскольку ей сказали, что Эмма умерла родами, Клэр решила, что не удалось спасти и ребенка. «Ты не обязана с ним возиться, если тебе самой не захочется, – сказал Бойд. – Я это пойму, у него есть няня». Мысль о том, что ей придется стать мачехой, настолько ошеломила Клэр, что она даже не расстроилась из-за того, что Бойд не посчитал нужным сказать ей об этом раньше. Она хотела отложить свадьбу, но газеты уже напечатали объявление о

дате их бракосочетания, и первый раз в жизни Клэр почувствовала, что кидается в омут и несется куда-то очертя голову с закрытыми глазами. Но когда в Мерилебоне она впервые увидела Пипа за чаем в гостинице, все ее страхи рассеялись. Пятилетний мальчик молча сидел, устремив взгляд на свой пирог, от которого он отщипывал по малюсенькому кусочку. Клэр была уверена, что он сразу же возненавидит ее, но ничего подобного не произошло. Он выглядел таким испуганным и потерянным, что она, повинуясь инстинкту, дотянулась под столом до его руки; выражение его лица зеркально отражало ее собственные чувства. Ей просто была невыносима мысль, что этот ребенок может бояться ее или того, чем обернется ее вторжение в их жизнь. Пип не отдернул руки, но посмотрел на нее с молчаливым смущением – и она в тот же миг захотела остаться с ним. Она сразу же ощутила родство с этим маленьким существом и одновременно пропасть, разделявшую его и отца, и решила, что перекинет через нее мостик. Все встало на свои места, и она успокоилась.

После обеда Клэр находит Пипа в той самой библиотеке, где днем они с Бойдом предавались любви. Она рада, что он выбрал кресло и не сидит за столом, на который ей неприятно смотреть. Они не занимались ничем постыдным, разве что выбрали не очень подходящее место, и все же ей стыдно – не при мысли о мгновениях близости, а при воспоминании о том, как она стояла здесь одна с голой грудью, пока Бойд ходил в комнату за презервативом. Ей стыдно при мысли о том, насколько он способен контролировать себя на самом пике возбуждения, и при мысли о собственной холодности. Пип держит на коленях определитель птиц, который рассеянно перелистывает.

– Как дела, Пип? Скучно до слез? – спрашивает она.

Он уже слегка обгорел, и его кожа поблескивает в свете лампы. Под рубашкой его плечи и локти образуют острые углы.

– Скучновато. Но день был отличным. Леандро говорит, что научит меня водить, пока мы здесь.

– Для тебя мистер Кардетта.

– Но он просил называть его Леандро.

– Даже если... – Она хочет продолжить, но ее прерывает шум, доносящийся снаружи. Крики и топот. Клэр и Пип быстро переглядываются и вместе подходят к окну, выходящему на улицу.

Клэр поворачивает жалюзи, и они выглядывают в щелку. Крики становятся громче, один голос перекрывает остальные, но слов она разобрать не может.

– Открой их, Клэр, иначе мы ничего не увидим, – говорит Пип.

Она распахивает створки, и они высовываются из окна, оглядывая Виа Гарибальди по всей длине до мощенной плитами дороги. По улице свободной колонной маршируют мужчины, одетые в черное. Рукава их рубашек закатаны; у некоторых на поясе огнестрельное оружие, у других короткие крепкие дубинки. Солнечные лучи вспыхивают тут и там, отражаясь от их значков, но с такого расстояния разглядеть, что там изображено, невозможно. На мужчине, идущем впереди, – фуражка как у полицейского, и в первый момент Клэр решает, что это полиция. Но зачем полицейским ходить по вечерам строем да еще без формы, вырядившись в похожие рубашки? Это зрелище тревожит ее. Лица по большей части молодые, чисто выбритые, в глазах лихорадочный блеск, как у мальчишек в предвкушении приключений.

– Кто это, Клэр? – громко спрашивает Пип.

– Тихо! – цыкает она, хотя шансы, что их услышат, невелики. Внезапно она ясно сознает, что совсем не хочет, чтобы кто-нибудь из этих парней поднял взгляд и увидел их. – Не знаю, – тихо добавляет Клэр.

Вновь раздаются крики, ругань, тут и там на теневой стороне в проулках мелькают какие-то силуэты. Колонна продолжает маршировать, и только успевает повернуть, как падает камень – во всяком случае, Клэр кажется, что это камень, – и приземляется у самых ног предводителя, вздымая клубы пыли. Мужчина в фуражке вскидывает руку, призывая остановиться, затем делает знак; внезапно все, как один, поворачивают и исчезают в переулке. Они напоминают стаю птиц или рой насекомых, кинувшихся на что-то съедобное, думает Клэр.

Пипу тоже становится не по себе. Они молча ждут, хотя ничего не происходит, только женщина в длинной юбке, с подвязанными шарфом волосами быстрым шагом выходит на угол и внимательно смотрит вслед марширующим. Через некоторое время доносятся громкие звуки повторяющихся ударов, звон битого стекла и женский визг. Вновь крики – снова тот же голос, мужской, громкий и гневный. Затем он обрывается, и наступает тишина. Клэр сознает, что задержала дыхание и слишком далеко высунулась из окна.

– Давай обратно, Пип, – говорит она, хватая его за рукав. Она вновь поворачивает жалюзи, возвращая их в прежнее положение, проверяет, что все сделала правильно.

Глаза Пипа широко открыты, лицо бледное и взволнованное.

– Что все это значит? Это полицейские? – спрашивает он. – Давай пойдем спросим Леандро? Он еще не лег, я совсем недавно видел его во дворе.

– Мистер Кардетта, Пип. И сейчас мы не будем его беспокоить. Наверное, ничего особенного не произошло.

– Непохоже во всяком случае, если судить по звукам, – обиженно возражает Пип.

Клэр поднимает брови, и он хмурится, но отправляется вместе с ней к спальням. Она не может сердиться на него, потому что он прав. Это не похоже на невинные развлечения молодежи. Клэр внезапно вспоминает ощущение, охватившее ее под стенами замка, – ту же угрозу она почувствовала и сейчас, когда испугалась, что ее увидят марширующие мужчины. «Нам не следует тут оставаться», – думает Клэр.

В течение двух дней Клэр возвращается мыслями к марширующим людям в черном, но ничего не говорит. В течение двух дней она думает о бурном проявлении страсти со стороны Бойда и об отказе подарить ей ребенка, но ничего не говорит. Она начинает гораздо острее, чем раньше, переживать невысказанное, ее вновь и вновь охватывает смятение, как в тот раз, когда дыхание Бойда горячило ей шею, а его рука, обнимавшая ее, не ослабляла хватки и он не давал ей подняться с постели. Чувство, будто что-то копится, нарастает. Никто больше, кажется, ничего не замечает, и дни идут своим чередом. Внезапно Клэр пронзает мысль, что, если так пройдет целое лето, ее чувство выльется во что-то нехорошее, в истерику или депрессию.

Бойд час за часом просиживает в библиотеке, рисует, стирает, снова рисует, пока он по-прежнему неудовлетворен результатом и с головой погружен в работу. Пип обучается вождению, а в промежутках катается на велосипеде, который он нашел в одной из полутемных комнат, где обитает прислуга. Он, словно маленький мальчик, колесит по двору, лавируя между колоннами крытой галереи. Когда он проколол колесо, Федерико обнаружил дырку при помощи наполненного водой таза, и заклеил шину. Клэр видит, как они обмениваются несколькими словами и улыбками. Раздвоенная губа шофера не так заметна, когда он улыбается, – она выравнивается, а рот он держит закрытым, словно стесняясь выставлять напоказ зубы. После починки велосипеда молодые люди пожимают друг другу руки, прежде чем Пип вновь садится в седло, и Клэр думает, не была ли она несправедлива, так невзлюбив Федерико.

Она много времени проводит за чтением. В библиотеке полно изданий на итальянском, пыльных, с выцветшими корешками; ясно, что они достались новому владельцу вместе с

домом и что к ним не прикасались целую вечность. На английском нашлось всего несколько книг, которые Кардетта привез из Нью-Йорка, и Клэр пожалела, что ничего не захватила с собой. Когда ей станет нечего читать, часы будут тянуться еще дольше и все труднее будет справляться с чувством, что ей не хватает воздуха. Марчи перешивает одежду на новый лад, пишет длинные письма друзьям в Нью-Йорк, болтает и смеется, проскальзывая из комнаты в комнату, словно суетливая кошка, и Клэр хочется ее успокоить, приласкать. Но она не знает, как приласкать человека, внешне такого жизнерадостного, который готов смеяться по малейшему поводу.

– Расскажите мне о Лондоне, – просит как-то днем Марчи. – Я там никогда не бывала. Это, наверное, чудесный город? Иначе и быть не может.

– Да, я очень люблю его. Мы живем в Хэмпстеде, тихом и зеленом местечке, совсем не похожем на центр Лондона. Там есть высокий холм, с которого открывается вид на южную часть города. И много маленьких кафе, где можно перекусить; дети катаются на осликах и плещутся в прудах. Там милый...

– Но разве вы не выезжаете в город? Вы ходите танцевать?

– Ну... да. Не очень часто – Бойд проводит целый день в городе, на работе. Ему нравится возвращаться по вечерам в наш тихий дом. И потом, он никогда особенно не увлекался танцами. Мы довольно часто ходим в театр.

– А по магазинам? Там, должно быть, чудесные магазины.

– Да. Магазины чудесные, – говорит Клэр. Она не вдается в подробности, несмотря на то что Марчи явно разочарована ее немногословностью. Клэр не хочется объяснять, что жена скромного архитектора не так уж много может себе позволить, а если куда и ходит, то в небольшие дамские магазинчики, а не в «Либерти» или «Харродс».

– Но, Клэр, что же вы делаете целый день?

– Я...

Клэр умолкает. Ее первое побуждение – защитить их тихую жизнь, но внезапно она ощущает отголоски паники, всякий раз накатывающей на нее при мысли о том, что Пип уедет из дома и ей не о ком будет заботиться. При мысли об одиноких, безмятежно скользящих днях в ожидании Бойда и о смутном разочаровании вечеров, проведенных вдвоем. При мысли о том, что ей придется оставаться один на один с приступами мужниной хандры, когда его молчание и самоистязание доводят ее до безумия.

– Иногда приходится поскучать, – говорит она. – Но по своему складу я предпочитаю однообразие бурным событиям.

– Правда? Черт возьми, а я – бурные события! – говорит Марчи. – Но если любишь мужа, всегда можно весело провести время, и еще как. Я права? – Она озорно улыбается и подмигивает Клэр, и Клэр может лишь смущенно кивнуть в ответ, поскольку слово «весело» никогда не ассоциировалось у нее с Бойдом.

Все дни, как один, стоят жаркие и ясные. К полудню порой появляются облака, но ночью они рассеиваются, и утром небо вновь чистое. Чем именно Леандро Кардетта заполняет свое время, Клэр может только гадать. Он приходит и уходит, редко подолгу задерживается в одной комнате. На третий день, когда зной начинает спадать, Леандро предлагает совершить с ним *пасседжату*, как принято среди *синьоров* в Джое. Марчи отказывается, сославшись на головную боль, она лежит на длинной кушетке в тени, словно опавший лист; Бойд поднимает взгляд от письменного стола, когда Клэр приходит позвать его, и мотает головой.

– У меня тут начинает что-то вырисовываться, дорогая. Отправляйтесь без меня, – говорит он.

– Пойдем, ну пожалуйста, Бойд. Мне совсем не хочется идти без тебя.

– Не глупи. Конечно, ты должна уважить Кардетту.

– Но я... так мало знаю его. Я бы очень хотела, чтобы ты тоже пошел. Пожалуйста. – Мысль о том, что она останется один на один с их хозяином, внушает ей беспокойство; правда, он всегда внимателен и безупречно вежлив, но все же чересчур проницателен, словно видит собеседника насквозь.

– Не сейчас, Клэр. Возьми Пипа, если тебе нужна компания. – Клэр спускается к Леандро, который стоит, поджидая ее, и улыбается так, словно чувствует ее настороженность.

В сопровождении Пипа они прохаживаются по Виа Гарибальди сначала в одну сторону, потом в другую. Люди не решаются выказывать пренебрежение к Леандро так открыто, как к Марчи. Приветствуя знакомых, он встает, преграждая им путь ровно настолько, чтобы протиснуться мимо него, не остановившись, было бы откровенной грубостью. Клэр почти удается следить за беседой на итальянском, но южный говор непривычен для нее, некоторых слов она не понимает и, пока вникает в суть сказанного, упускает дальнейшее. По лицу Пипа видно, что он ничего не понимает, но, когда Леандро представляет его собеседнику, Пип пожимает руку, уверенно произнося *buona sera*⁷.

– Это доктор Анджелини, один из наших выдающихся докторов здесь в Джое, – говорит Леандро, пока Клэр пожимает руку низенькому толстому человечку, чье лицо и седые волосы лоснятся от жира. – Я сказал «выдающийся доктор», подразумевая отвратительный шарлатан. Этот человек обирает здешних бедняков, продавая поддельные лекарства, которыми снабжает его брат-аптекарь; и еще осматривает женщин со слишком большим тщанием – в подробности вдаваться нет необходимости. Не думаю, что у него имеется диплом, и стоит разразиться холере, как он первым сбегает отсюда в Рим, бросая больных на произвол судьбы. Не волнуйтесь, он ни слова не знает по-английски. – Все это Леандро произносит ровным дружелюбным тоном, пока доктор Анджелини улыбается и подобострастно кивает.

Клэр изо всех сил старается не выказать удивления, а Пип, не сдержавшись, издает хохоток. Глаза доктора подозрительно прищуриваются, и Кардетта что-то говорит ему совершенно невозмутимо, без тени насмешки. Доктор вновь наклоняет голову, но провожает глазами Пипа, когда они расходятся.

Клэр искоса посматривает на Леандро Кардетту, пока они прогуливаются, и в ответ он заговорщически улыбается.

– Это было смешно! – говорит Пип, и Клэр едва сдерживает себя, чтобы не цыкнуть на него, сознавая, что это может быть расценено как проявление неуважения по отношению к Леандро.

– Вы не одобряете моего поведения, миссис Кингсли? – спрашивает он.

– Просто я несколько... словом, вы застали меня врасплох, – говорит она.

Они идут в западном направлении навстречу солнцу, и его сияние слепит ей глаза.

– Я надеялся вас позабавить. К тому же малоприятные люди заслуживают того, чтобы над ними смеялись. – Он пожимает плечами. У него необычный говор: чуть заметный нью-йоркский акцент, совсем не сильный для человека, который учил там английский, и итальянская интонация, слышная в каждом слове.

– Зачем же поддерживать знакомство, если вам они так несимпатичны?

– Увы, миссис Кингсли, чтобы быть кем-то, нужно поддерживать знакомство со всеми.

– А кем вы хотите быть? – интересуется Пип. Он стал гораздо свободнее общаться с их хозяином с тех пор, как начались уроки вождения. И Леандро Кардетта, кажется, не имеет ничего против. Клэр уже начинает думать, что все ее опасения – насчет Джоя-дель-Колле, насчет Федерико и Леандро – лишь плод ее воображения, возбужденного тем напряжением, которое передалось ей от Бойда. Что, если она пугается собственной тени?

⁷ Добрый вечер (*ит.*).

– Я хочу, чтобы со мной считались, Филипп, – говорит Леандро Кардетта. – Я не идеалист. Мне хорошо известно, что уважение к таким *терроне*⁸, как я, здесь можно только купить. Но я должен его получить, и я его *получу*. – Клэр промолчала, и он снова посмотрел на нее. – Вы этого не одобряете, миссис Кингсли?

– О, я слишком мало в этом понимаю.

Его улыбка становится натянутой.

– Я вижу, вам близка старая британская максима – подлинное уважение можно только заслужить, – говорит он. – Ваш муж уже высказывался в подобном роде, но это не всегда так. Если люди, с которыми мне приходится иметь дело, понимают только деньги и силу, значит на этом языке с ними и нужно разговаривать. Жизнь в Нью-Йорке научила меня, что подход можно найти ко всем. Я не для того прошел весь путь от полнейшего ничтожества до нынешнего моего положения, чтобы терпеть презрительное отношение людей, которые ничего не сделали в жизни, а только занимались мотовством, жирели, предавались лени и тупели.

– Но зачем же тогда вы вернулись, если вам приходится водить дружбу с людьми, которые вам неприятны? – спрашивает Пип.

– Дружбу? Здесь я ни с кем не вожу дружбы. Но это мой дом. Я помню эти улицы с раннего детства. Этот запах... – Он сделал глубокий вдох. – Этот вкус. Можешь ли ты понять, что это значит, Пип? Наверное, ты еще слишком юн. Я долго прожил в Америке, но каждый день – каждый божий день – я думал о том, как вернусь сюда. Теперь я здесь, и мне здесь не рады. Что ж, пусть так. Но я дома, и дома останусь.

– Что за бизнес у вас был в Нью-Йорке, мистер Кардетта? – спрашивает Клэр. – Здесь вы занимаетесь тем же?

– Утилизация отходов. – Он улыбается, довольный тем, что удалось ее удивить. – Не то, что вы ожидали? В Нью-Йорке чертова уйма людей, производящих чертовски много мусора. Но это в прошлом. В Джое почти нет отходов, вы заметили? То, что остается у бедняков, съедают собаки.

Они проходят еще немного и оказываются рядом с группой из трех человек, одетых так же безукоризненно, как Леандро, стоящих на углу улицы в безупречно начищенных ботинках, в застегнутых на все пуговицы жилетах, на которых в солнечных лучах поблескивают цепочки от часов.

– *Buona sera, signori*, – приветствует он их, наклоняя голову, но не останавливаясь.

Клэр начинает улыбаться, но от их открытой враждебности улыбка замирает у нее на губах. Один из мужчин сплевывает – в сторону, не в них, но явно с намерением оскорбить.

– У тебя нет права заговаривать с нами, *кафони*, – мрачно говорит мужчина по-английски. – У тебя нет права носить эту одежду и жить в этом доме.

– Хорошо выглядишь, Коццолино. Лето тебе на пользу, – спокойно отвечает Леандро.

Когда они удаляются, Клэр чувствует на себе их взгляд и не осмеливается обернуться.

– Этот человек был очень груб... что означает *кафони*? – спрашивает Пип.

– *Кафони* означает крестьянское отродье. Не пугайтесь так, миссис Кингсли. Коццолино не заслуживает того, чтобы его уважали и уж тем более боялись. Это худшая разновидность местных синьоров. Он считает, что его Богом данное положение оправдывает любые выходки. Но все это ему еще аукнется, раньше или позже.

– Не знаю, как вы можете терпеть такое обращение. Это ужасно, – говорит Клэр.

– Раньше или позже – им придется ко мне притерпеться. У них не останется выбора. – Когда они идут назад к Пьяцца Плебишито, он снова обращается к Клэр: – Я и не подозревал, что британцев может так шокировать столкновение с классовыми предрассудками.

⁸ Так северяне называют жителей юга Италии.

– Ничто не извиняет дурных манер. И я считала... Я никогда...

– Не испытывали на себе всю их остроту?

– Да. Я категорически не хотела бы иметь ничего общего с подобными людьми.

– Вы бы стояли в стороне и позволили бы им победить? Я толстокожий, миссис Кингсли, иначе нигде не пробьешься, ни здесь, ни в Нью-Йорке. Но я не забываю подобных выходов. – Он стучит пальцем по виску. – Однажды Коццолино придется пожалеть о том, что он говорил со мной таким тоном. Или, может, вы думаете, что он прав? И что в высшем обществе нет места для таких *arriviste*⁹, как я?

– Нет, – отвечает Клэр, дрожащим от волнения голосом. – Я вовсе так не думаю.

– В таких маленьких местечках, как Джоя, политика делается именно так, миссис Кингсли. Все зависит от того, с кем ты знаком и кому ты платишь. Представьте, что в один прекрасный день я стану членом городского совета! Тогда я действительно смогу здесь что-то изменить. Но это произойдет лишь в том случае, если я сделаюсь одним из них, по крайней мере внешне. Это долгий процесс и, возможно, довольно неприятный, но таковы правила игры.

– Разве демократия – это игра? – говорит Клэр.

– Не я создавал этот мир, – пожимает плечами Леандро. – Политика всегда была грязным делом.

– Тогда, мне кажется, лучше оставаться в стороне.

– Но, миссис Кингсли, это не решение! В вашей стране женщины теперь могут голосовать, не так ли? Не говорите мне, что вы не воспользуетесь этим правом.

– Когда мне исполнится тридцать, я получу право голоса. Но я совершенно не в курсе, за кого мне голосовать. Думаю, в этом вопросе я буду полагаться на мнение Бойда. Политика никогда меня не интересовала. Лучше я оставлю это тем, кто в ней разбирается, – говорит она.

Леандро хмыкает. Некоторое время он молча шагает, сцепив за спиной руки и разглядывая свои модные ботинки.

– Для вас политика – это газетные статьи. Решения принимаются где-то далеко и никак не влияют на вашу жизнь. Не так уж сложно их игнорировать. Здесь же, в Апулии, политика – это то, что делается на вашем пороге; это то, что происходит *с вами*, интересуетесь вы этим или нет. Политика может вынуть кусок у вас изо рта, довести вашу семью до нищеты. Она может отнять у вас возможность работать и отправить вас в тюрьму. Ее невозможно игнорировать или не интересоваться ею.

Почувствовав в его словах упрек, Клэр не находится с ответом; повисает неловкое молчание.

– Я надеюсь, вы станете мэром, – говорит Пип, и Клэр ему благодарна. – И тогда этот человек не осмелится грубить вам.

Леандро усмехается.

– Забавно будет наблюдать, как он станет учиться вежливому обхождению. – Он одаривает Пипа своей хищной улыбкой.

И тут они замечают какое-то волнение впереди на Пьяцца Плебишито, прямо перед ними. На краю площади, к которой они подходят, неплотным кольцом стоят люди, остановившиеся поглазеть; они переминаются с ноги на ногу, тревожно, неуверенно. Одеты в черное, как крестьяне, это могут быть те же бесцельно слонявшиеся горожане, которых Клэр заметила раньше; один или двое выкрикивают что-то на местном наречии, но мужчины, на которых все смотрят, не обращают на это внимания. Трое из них, в черных рубашках, с полицейскими дубинками в руках, стоят наготове, в них нет и тени неуверенности, при-

⁹ Карьерист (*ит.*).

сущей столпившимся зевакам. Четвертый уперся плечом в дверь, выходящую на площадь; его зубы скрипят, он сопит и хрипит от напряжения всякий раз, как наваливается на дверь. Как и прочие зрители, которые, прогуливаясь перед сном, забрели на площадь и случайно стали свидетелями происходящего, Клэр, Пип и Леандро застывают на месте, не в силах оторваться от зрелища.

– Это полицейские? Они собираются кого-то арестовать? – спрашивает Пип.

– Нам лучше уйти, – говорит Клэр и чувствует, что в горле у нее пересохло, но Леандро не двигается и не отвечает. Он наблюдает за событиями с непроницаемым выражением. Клэр и Пип тоже смотрят, и она уверена, кем бы ни были эти люди, они не полицейские. Деревянная дверь с треском поддается, и мужчины оказываются внутри. Где-то наверху женщина выкрикивает какие-то непонятные слова; слышится шарканье и глухой звук шагов по деревянным ступенькам. Стоящие кольцом зрители все, как один, невольно подаются вперед, но их словно что-то останавливает. Клэр понимает, что они напуганы. Ужасно напуганы. Нужно уходить, думает Клэр.

Через тридцать секунд появляются люди в черном, которые тащат еще одного человека. Это мужчина средних лет, в его аккуратной бородке поблескивает седина. Он хрупкого сложения, в круглых проволочных очках, растрепанные волосы падают ему на лоб. Он явно идет против воли, но не оказывает никакого реального сопротивления. Держится он с достоинством, и Клэр переводит дух, ей кажется, что худшее позади.

– Вы знаете, кто эти... – спрашивает она, но умолкает на полуслове.

Выведя мужчину из дома, сопровождающие отпускают его. Указательным пальцем правой руки он поправляет очки, и один из людей в черном с яростью бьет его дубинкой по лбу. Раздается жуткий звук, утробный и при этом странно глухой. Очки слетают, в голове зияет рана; Клэр слышит звон, с которым они ударяются о мостовую. Мужчина мешком оседает на землю, брызги крови разлетаются во все стороны. Левый глаз у него сильно поврежден, но человек, должно быть, еще в сознании, поскольку он подтягивает к груди колени и закрывает локтями голову, пытаясь защититься от ударов, которые вот-вот на него посыплются. Четыре дубинки поднимаются и опускаются, вновь и вновь, зажатые в руках с побелевшими костяшками. Еще долго после того, как он перестал шевелиться, его бьют ногами, целясь носками ботинок в мягкие части тела; закончив, мужчины тяжело дышат. Клэр не видит, как они уходят, не видит, идут ли они неспеша или бегут, словно преступники. Ее взгляд прикован к поверженному, изувеченному человеку, лежащему на камнях мостовой, и его маленьким разбитым очкам. Она садится на землю, не сводя с него немигающих глаз, словно он всецело завладел ее вниманием, а Пипа рвет неподалеку.

Много часов спустя Бойд будит ее, за ставнями уже темно. Он включает лампу у кровати, и свет отдается острой болью в ее голове.

– Как ты? – Он берет ее руку в свою, а пальцами другой проводит по щеке.

– Я хочу, чтобы мы уехали. – Клэр осторожно садится. Она ловит себя на мысли, что ей трудно говорить; мир вдруг изменился, он уже не тот, что был прежде, – он стал опасным и непостижимым; в тени прячутся убийцы. Внезапно Клэр остро осознает свою хрупкость. Понимает, как тонка грань, отделяющая ее от смерти. На ней все та же одежда, в которой она ходила на *пасседжиату*, и, опуская глаза, она боится, что увидит кровь. Ее трясет. – Мы все, ты, я и Пип. Я хочу, чтобы мы поехали домой.

– Клэр... – Бойд мотает головой.

– Пожалуйста, Бойд. Здесь творится что-то ужасное, и я не хочу при этом присутствовать... Я не хочу, чтобы Пип был здесь! Умоляю тебя, Бойд, – твой пятнадцатилетний сын только что видел, как человека забили до смерти!

– Надеюсь, он не умер. Он еще был жив, когда его несли...

– Это как-то меняет ситуацию...

– А разве нет?

– Ну, если он жив, то... я рада. Но это ничего не меняет, Бойд. Мы здесь чужие. – Она хочет унять дрожь, но все ее нутро неудержимо трясет.

– Мы не можем уехать, дорогая. – Бойд вновь мотает головой грустно, но непреклонно. Лампа освещает его лицо снизу. Он сидит на краю кровати, длинный, сутулый, сгорбив плечи. Клэр хочет достучаться до него, хочет, чтобы он прочувствовал ее потрясение.

– Почему нет? У тебя было время изучить это здание... Ты можешь делать свою работу в Бари или в Риме. Или в Лондоне – *дома*, Бойд.

– Это невозможно. – Он встает, отпускает ее руку, идет в другой конец спальни, затем обратно.

– Но почему?

– Потому что я дал слово, Клэр! Леандро попросил меня приехать сюда и поработать с ним над проектом, и я согласился. Я не могу отступить.

– Почему нет? Я уверена, он поймет, – всякий разумный человек понял бы.

– Клэр, это *невозможно*! – кричит он, стоя напротив нее, опустив глаза и сжав кулаки.

Клэр смотрит на него долгим взглядом. И когда она начинает говорить, то произносит слова почти шепотом:

– Почему ты так боишься его, Бойд? Что было между вами? Ведь что-то было – что-то произошло в Нью-Йорке, так?

Бойд смотрит на нее, и глаза его блестят от навернувшихся слез.

– Ничего, – отвечает он резко, и оба знают, что это ложь. – Все, хватит. Ты моя жена, и мне... нужна твоя поддержка. Я принял решение.

– Но мне и Пипу незачем оставаться – я не связывала себя обещаниями, и наверняка Кардетта от нас этого не ждет. Поедем с нами, Бойд, – просит она.

– Клэр, нет. Тебе нельзя уезжать. Я не смогу здесь без тебя.

Клэр чувствует, что ее решимость слабеет; но если она отступится, то застрянет в Джое на все лето, и от такой перспективы ком встает у нее в горле. Превозмогая страх, ей нужно отстаивать свою позицию, ей нужно говорить с ним прямо, даже если это и выведет его из душевного равновесия.

– Я пойду... проведу Пипа. – Она осторожно встает, опасаясь, что пол уйдет у нее из-под ног, и направляется в комнату Пипа, оставив Бойда в глубокой задумчивости стоять у кровати.

Пип опять сидит на подоконнике, плотно завернувшись в халат, как будто он замерз. У кровати на подносе стоит нетронутый ужин и чашка кофе латте с опавшей пенкой. Лицо Пипа пепельно-серое; Клэр подходит и обнимает его, прижимая его голову к своему плечу, через несколько секунд он обнимает ее, и она чувствует, как его тело начинают сотрясать рыдания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.